# Отдельный

Инна Львовна Лиснянская

SHOUT
SHARE
IT

- Инна Лиснянская
  - От автора
  - До знакомства
  - Родные “пеналы”
  - Мир
  - Беседы
  - На городской квартире
  - Прогулки
  - Зеркало и стекло
  - Мы видели лося
  - Часы
  - “Нетленка”
  - Разрыв
  - Табуретка
  - Первоапрельские праздники

# Инна Лиснянская
# Отдельный
## Воспоминательная повесть архив

*Опубликовано в журнале «Знамя»*
*2005, № 1*

# От автора

Последнее время — особенно после ухода Семена Израилевича — я многое вспоминаю из нашей общей жизни. О других ушедших. О поэтах. Уже написала несколько воспоминательных страниц о Булате Окуджаве. Хотелось бы сказать и о Марии Петровых, и о Лидии Чуковской, и о Корнее Ивановиче. Опасно делиться своими планами, особенно в моем возрасте. ЕБЖ, как говорил Толстой, — может быть, хватит жизни написать.

# *До знакомства*

*Запоет мембрана телефона:*
*— Отвечает альфа Ориона.*

В фойе Колонного зала я увидела высокого, статного, необыкновенно красивого человека, стоящего отдельно от всех. Тарковский! — поняла я. В афише, насколько помню, значилось трое стихотворных переводчиков с азербайджанского: Алла Ахундова, Арсений Тарковский и я. Но ведь этот, как мне тогда казалось, пожилой, стройный господин, с такой легкостью опирающийся о тяжелую трость, мог быть кем угодно. Нет, не мог. Им мог быть лишь отдельный — Тарковский, у которого, я слышала, но еще не видела, вышла, в его-то годы, первая книга стихотворений “Перед снегом”.

Уже на самом вечере, а меня усадили в президиуме между Тарковским и трибуной, я, близорукая, разглядела его лицо: ни одной грубой черты, очень четкий профиль, несколько монголоидные глаза и скулы, высокие летящие брови, все — соразмерно: лоб, нос и подбородок, заостренный ровно настолько, чтобы не быть острым. Уже обозначились морщины, но, впрочем, как и после, в 1973 году, они были столь выразительны, что лишь подчеркивали утонченную красоту лица, очень подвижного, нервного, благодаря быстроменяющемуся выражению темнолучистых глаз. Эти морщины показались мне дополнительными органами чувств, неким необходимым добавком к зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию. И в этом я вскоре убедилась.

Арсений Тарковский читал отрывок из переведенной им поэмы Расула Рза “Ленин”. Читал Тарковский ровным, эмоционально не окрашенным голосом, окончания строф проглатывал, точно давясь ими. Но как изменилось его лицо! Если бы оно всего лишь побледнело! Нет, оно вдруг совершенно разгладилось. Тонкие морщины как бы вобрали в себя все внешнее время, навязавшее поэту, ненавидящему переводить, неизбежность перелагать с чужого языка на родной то, что ему и в русской советской поэзии было отвратительно.

А вечер советской азербайджанской поэзии в переполненном Колонном зале происходил на фоне неслыханного стихотворческого публицистического бума. Да и куда было ходить народу, кроме производственных, партийных и поэтических собраний, — из последних хоть можно выловить ухом некий намек на правду.

Морщины на лице Тарковского, разглаживаясь, видимо, не только вбирали в себя внешнее время, но и прятали свое собственное, внутреннее время, которого не может не быть у поэта. Несвязь лица Тарковского с лицом Колонного зала более всего выражает двустишие из стихотворения, которое он напишет в середине семидесятых на другую тему:

А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска…

Шутник и острослов в жизни, Тарковский не любил неоправданного, как ему казалось, остроумия в стихах. В середине семидесятых он мне скажет о Глазкове: “Он, верно, поэт, но что за остроумная бессмыслица, скрепленная преступно-неточными рифмами:

“Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный,
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней”?..

Разве существуют “обычные” века? А поэт — с первых дней творения земли до приближающегося обитания и на других планетах — всегда — историк, современник и пророк”.

Тут я сразу оговорюсь: Тарковский резко критиковал или недолюбливал лишь тех поэтов, которых без сомнения считал поэтами. Впоследствии в течение нашего с ним трехлетнего приятельства я ни разу не услышу, чтобы Арсений Александрович о посредственном стихотворце отозвался как о посредственности, а о бездарном как о бездарности. Он их просто не брал в расчет и, подолгу живя в доме творчества, относился к ним безо всякой надменности, даже с затаенной жалостью: мол, бедняги, не за свое дело взялись.

# *Родные “пеналы”*

*Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!*

В начале семидесятых переделкинский дом творчества состоял из трех коттеджей и главного корпуса, построенного в 1955 году в стиле сталинского ампира. На каждом этаже, а их всего два — общие душевые, общие уборные (мужская и женская), однокоечные номера и двухкоечные (если писатель приезжал с женой, и наоборот). Одноместные комнаты похожи на пеналы, высокие потолки только подчеркивали пенальность, делали номер еще более узким. В пенале помещались письменный стол перед окном, полутораспальная кровать, тумбочка, платяной шкаф, кресло для отдыха — большое, плюшевое, по-домашнему уютное, и два стула. Если постараться, то между креслом и шкафом можно было втиснуть раскладушку или узенькую оттоманку, что я и делала. Рядом с дверью, с двух сторон обитой дерматином, — раковина, и над ней кран-елочка, и выше — зеркало. Увы, не всем приезжающим в дом творчества охота среди ночи ходить в уборную, и часто, когда я въезжала, от раковины подолгу несло мочой. Не помню, кто из нас, Арсений Александрович или я, так назвали наши номера, находившиеся друг против друга, но откуда бы мы ни возвращались втроем, за рулем, естественно, — его Татьяна, Тарковский неизменно с тоскливой усмешкой повторял: “Возвращаемся в родные пеналы”. Удобнее всего было жить на втором этаже, — меньше гари и шума от хлопающих дверок такси (собственными машинами обладали еще немногие), меньше пыли и больше зелени в окне. И пока у Тарковского хватало сил взбираться и спускаться по широкой мраморной лестнице, он предпочитал второй этаж. Под мраморной лестницей — закуток с диваном, двумя креслами и журнальным столиком. Там по давнему обыкновению собирались курильщики и даже “шахматисты”, хотя в конце шестидесятых к корпусу, напоминающему особняк, была сделана огромная пристройка. Она состояла из стеклянного коридора, ведущего к стеклянному холлу перед стеклянной же столовой и к крутой лестнице. Лестница вела в кинозал, бильярдную, библиотеку и буфет.

Казалось бы, располагайся в холле в окружении кадок с олеандрами, пальмами и фикусами, покуривай в кресле (тогда всюду кроме кинозала и библиотеки курить разрешалось), играй в шахматы, беседуй. Ан, нет! Традиция тесниться и клубиться

вместе с табачным дымом именно под мраморной лестницей напротив входа и двух телефонных кабинок оказалась гораздо устойчивее, чем литературные традиции и привязанности. Поначалу Тарковский со мной раскланивался, и только. Я это объясняла тем, что была невольной свидетельницей его короткого увлечения поэтессой Светланой Кузнецовой. В 1966 году раза три или четыре мы в ЦДЛ обедали втроем. К тому времени я уже знала и стихи Тарковского (“Перед снегом”). Недавно вышедшую в свет книгу “Земле — земное” Арсений Александрович принес в дар Кузнецовой, приличия ради подарил и мне. О чем разговаривали — не помню. Скорее всего — ни о чем, ибо Тарковский всецело, но галантно и ненавязчиво был сосредоточен на красавице Светлане, всегда одевавшейся во все черное и красившей в то время волосы в цвет голубоватого снега. Я еще тогда подметила, что Тарковский приятно старомоден. При встрече целовал руку и мне, пододвигал закуску, наливал в мой бокал “боржоми”, запомнив с первого нашего застолья втроем, что я спиртного уже три года — ни-ни. Кстати, не проявил ни разу, я думаю, из деликатности, любопытства, свойственного цэдээловцам, то есть завсегдатаям Центрального дома литераторов: почему это вам не опрокинуть рюмочку? Надо признаться, что я тогда не прислушивалась к тому, что говорил Тарковский, и не пыталась понять, что он за человек. Мне было достаточно того, что я полюбила его поэзию и чисто инстинктивно боялась разочарования в человеке, что со мной случалось и случается поныне. И еще: во мне полностью отсутствовал и отсутствует трепет перед личностью писателя. Трепет во мне живет не к человеку, а к его твореньям. Поэтому — никакого подобострастия, никаких молитвенных восторгов, никакого ощущения дистанции, даже возрастного. Может быть, именно эта моя бестрепетность, это мое ощущение, что перед Богом все равны, и стали основой нашей почти трехлетней, домотворческой дружбы с Тарковским, которая началась, кажется, весной 1973-го и закончилась в начале весны 1976 года.

Однажды под лестницей, где мы курили, как совершенно незнакомые, Тарковский вдруг обратился ко мне:

— Инна, скажите, пожалуйста, почему вы отказались от общего вечера со мной? Что я, лицом не вышел?

— Вы — отдельный, вот почему.

Тарковский рассмеялся и подтвердил:

— Да, я отдельный!

И добавил из вежливости:

— И вы — отдельная.

А в глазах лукавые искорки. И я поняла, что он подробно

знает предысторию его авторского вечера, прошедшего в ЦДЛ, как я слышала краем уха, с огромным успехом.

А предыстория такова: в 1967-м мне позвонил Смеляков, тогда председатель секции поэтов:

— В прошлом году у вас и у Тарковского вышло по книге. Я предлагаю сделать творческий вечер Тарковского и…

— Нет, — прервала я, — спасибо, Ярослав Васильевич, за ваше ко мне доброе отношение, но подумайте, разве вам не понятно, что я по сравнению с Тарковским — ну просто полная ерунда.

— Вечно вы себя хаете, это же хорошее предложение.

— Нет, нехорошее, Ярослав Васильевич! Тарковский — очень крупный поэт. И его ни с кем нельзя впрягать в одну упряжку. Он — отдельный. Да к тому же, — добавила я, — он в секции переводчиков состоит, а не в вашей.

Смешно, но именно мой последний аргумент подействовал на Смелякова:

— И в самом деле, он же в секции переводчиков, вот пусть они и организовывают. А ты, да хрен с тобой, — перешел на “ты” Смеляков и повесил трубку.

— Арсений Александрович! Я же по вашим глазам вижу — вам известен разговор Смелякова со мной. Зачем вы меня спрашиваете: “Что, рылом не вышел”?

— Я не сказал — рылом, я сказал — лицом.

И тут мы одновременно расхохотались. Отсмеявшись, Тарковский предложил:

— Пойдемте ко мне, позовем Таню, я отменно завариваю чай, прихватим полдничные булки, у меня есть конфеты, посидим, чаю попьем.

— Спасибо, но я терпеть не могу чай, только — кофе.

— То есть как не можете терпеть чаю, вы же бакинка! — И снова начал смеяться, да так заразительно, что и меня разобрал беспричинный смех. Тут кто-то из говорящих по телефону сделал нам знак: дескать, угомонитесь, ничего не слышно!

Мы зашли в столовую за полдничными булками, потом я — в свой пенал № 32 взять банку растворимого, а Тарковский, живший в 36-м, — за Татьяной в соседний с ним — 35-й. Татьяна чаевничать отказалась. Она почти без продыху трудилась над переводом с английского социально нужного произведения — для денег, а для души — над переводом романа “Унесенные ветром”, разве что с дальним прицелом — для заработка. И, как известно, она не ошиблась.

В пенале у Тарковского царил даже не беспорядок, а хаос. Вещи и книги раскиданы по всей кровати. Вперемешку с книгами

и бумагами на столе чего только не было: чашки, игральные карты (за карточной игрой я его ни разу не видела), бинокль, очешники, кнопки, скрепки и всякие безделушки. В особенности меня поразила черная, с виду игрушечная, подзорная труба. Именно она для меня почему-то олицетворила не беспорядок, а хаос. “Боже мой, — подумала я, — у него в стихах микрокосмос, а на столе макрохаос”. До чего же не похож он сам и его стол на его же стихи, строгие, упорядоченные и по форме и по содержанию, написанные так, что уже сама плоть стиха становится душой, чем Тарковский отличается ото всех… На это намекает и его парадоксальная строка: “Слово только оболочка”.

Наша мысль движется быстрей речи, пера, компьютера, и я успела прокрутить в уме, кто из поэтов похож на себя в быту, а кто — нет. Пушкин — не похож, Лермонтов — похож, Фет — не похож, Есенин и Цветаева — скорее похожи… Мой мысленный, сумбурный перечень имен — похож-не-похож — прервал Тарковский, видимо, заметивший мой взгляд, упертый в подзорную трубу:

— В Марселе купил, смотреть на звезды. Так на чем мы остановились?

— На рыле или лице.

— Инна, верно, мне и пококетничать нельзя? А если честно, то все очень просто: вы без пяти минут жена Семы Липкина, а мы с ним давно в ссоре. А раз я с ним не разговариваю, подумал я, то и вы со мной не станете. А мне скучно. До вашего приезда я тут с Гришенькой Кориным в нарды играл, но люблю и в шахматы. А вы, слышал, умеете. Вот и заговорил с вами.

За шахматы мы еще долго, считайте, год или полтора, не усаживались. Однако про шахматы, прерывая ход повествования, хочу написать сейчас же. В игре с особенной четкостью открывается характер человека. Точнее, одна или две главные черты, не тонкости. Тарковский вел себя за доской как десятилетний невундеркинд. Он совершенно не учитывал партнера, ни обороны его, ни наступления (о тактике и стратегии и говорить не приходится), играл так, словно противника никакого нет, за доской только он. Тарковский шел в наступление сразу же в дебюте, даже когда играл черными. Когда-то, в юности, я играла неплохо, но к сорока пяти годам уже успела позабыть все, относящееся к шахматам. Но вот однажды, начиная белыми партию с Тарковским, вспомнила “гамбит Эванса” и решила его разыграть, то есть пожертвовать пешку, двинув ее с С2 на С4. Если черные принимают жертву, то оголяется их королевский фланг — пресловутая пешка F7. Тарковский, ни на мгновенье не задумавшись, принял жертву и почти молниеносно получил мат.

Он негодовал, грозил мне кулаком, выкрикивал: “Это жульничество, подвох!” Быстрые проигрыши, слава богу, были нечастыми. Конечно же, мы играли без часов. Да и для Тарковского ли — часы? Он играл так азартно, что не мог усидеть за доской более двух-трех минут, вскакивал, разворачивал то влево, то вправо свою широкую грудную клетку, прыгал на одной ноге, и, проиграв, тут же требовал начать новую партию. Выигрывал Тарковский крайне редко и исключительно белыми фигурами, ошеломляя меня беспримерным натиском до такой степени, что я прозевывала вдруг самого ферзя и сдавалась. Но Арсений Александрович не принимал моих вверх поднятых рук, ему обязательно нужно было довести победу до конца, до ликующего объявления: “Вам — мат!”. Как же он радовался выигрышу!

— Таня, Таня, — кричал он, — я победил! Я победил! — Но Татьяна на его победные кличи не выходила из комнаты, лишь на негодующие: “Жульничество! Подвох!”. После “гамбита Эванса” она подошла к нам — играли за большим круглым столом посередине холла перед балконной дверью, а в теплые дни — на самом балконе или в саду. Баталии длились чаще всего после короткого послеобеденного отдыха Тарковского до самого ужина, а бывало — с самого утра. Негодование — “Жульничество! Подвох!” — походило на крик о помощи. В тот же раз Арсений Александрович даже костылем стучал по ковру. Татьяна развернула ко мне свой профиль орлицы: “Арсений Александрович не любит проигрывать”.

— Но и я не люблю проигрывать, — оправдывалась я.

Ко времени наших с Тарковским “матчей” отношение Татьяны ко мне резко ухудшилось. Ее муж-ребенок явно выходил из-под контроля. Кстати, о профилях и фасах. Это была еще одна наша общая игра. Тарковский приохотил меня к угадкам, кто на какого зверя или птицу похож.

— Не правда ли, Виткович в фас похож на доброго бульдога, а ваш бывший муж — на доброго обиженного воробья. А на кого я похож?

— На оленя! — присмотрелась я.

— Угадали! У меня даже в стихах есть автопортрет-олень. Жаль, наизусть не помню, но обязательно найду и прочту… Но Тарковский мне так и не прочел “автопортрет-олень”, может быть запамятовал, но — не думаю, скорее — не захотел. Он, написавший: “Я трижды был пред миром виноват”, редко жалеет себя в стихах, чаще жалеет других. Вот этот автопортрет:

Охота

Охота кончается.
Меня затравили.
Борзая висит у меня на бедре.
Закинул я голову так, что рога уперлись в лопатки.
Трублю.
Подрезают мне сухожилья.
В ухо тычут ружейным стволом.
Падает на бок, цепляясь рогами за мокрые прутья.
Вижу я тусклое око с какой-то налипшей травинкой.
Черное, окостеневшее яблоко без отражений.
Ноги свяжут, и шест проденут, вскинут на плечи…

На кого, по определению Тарковского, была похожа я, забыла из-за “табуретки” (о чем речь — выяснится далее), остальные угадки — кто на кого похож — помню, но не стану их приводить не потому, что чаще всего угадки были язвительны, а потому, что речь не о других идет, а о Тарковском.

Однако до “гамбита Эванса” еще далеко, и я возвращаюсь к тем чудесным дням и вечерам, когда мы с Тарковским подолгу беседовали о поэзии, о разных людях, вещах, событиях, как серьезных, так и абсолютно незначительных. Я, пожалуй, не вспомню человека, с которым мне было бы так легко, так бескомплексно, так весело общаться. Да и Татьяна на первых порах всячески поощряла нашу дружбу. У нее со мной даже был уговор помирить “Арсюшу с Семой и Марусей” — с Липкиным и Петровых.

Часов в десять вечера, после кино, Арсений Александрович заваривал чай с такой уважительностью к процессу заварки, что я пила с ним и Татьяной и притворно восхищалась. Часам к одиннадцати вечера Татьяна уходила в свою комнату, ведь она трудилась, а мы бездельничали, хотя нет-нет и писали стихи, он, как я поняла — по глубоким ночам, страдая бессонницей. И вот тут-то, после одиннадцати, и начинались наши важные и ерундовые разговоры. Арсений Александрович был невероятно смешлив. Он так заряжал меня своим смехом, что я вместе с ним смеялась над собственными же, давно обкатанными устными рассказами о многонациональной бакинской коммуналке. Тарковский же даже о, может быть, самом трагическом эпизоде своей жизни поведал мне смеясь:

— Смех один, Инна, надо же было такому случиться. Ведь без ноги меня оставил не немец, а свой, свой! Была неразбериха, оглушительная артиллерийская пальба. А я задумался, выискивал звезды в небе, да где их разглядишь меж вспышками, пошел не в

ту сторону. Уже в госпитале узнал, что часовой у склада с оружием, трижды меня окликнув, выстрелил мне в ногу. Такая вот потешная судьба. Впрочем, — добавил Тарковский уже без смеха, — все удары всю жизнь я получаю только от своих… Получи я пулю от немца, попал бы, верно, в тыловой госпиталь, может быть, остался бы на своих двоих*…

Значительно позже я поняла, какими слоями смеха прикрывал Тарковский свою душевную рану, свой “позор”. Тарковский поэт не первой реальности. Если автобиографичность его стихам и свойственна, то глубоко упрятана. И только иногда его личная обида или жалоба на судьбу вырывается из его стихов. Так, при недавнем перечитывании Тарковского меня пронзила строка из стихотворения “Полевой госпиталь”:

Где я лежал в позоре, в наготе.

Значит, позором, позором считал свое ранение поэт. Но он, ребенок в повседневности, был при этом и закрыт (есть же и замкнутые дети). Даже, решившись мне поведать то, в чем мало кому, как выясняется, признавался, сделал попытку смехом прикрыть свою, видимо, не утихающую боль.

Одним из весенних утр Тарковский получил письмецо от Эдуарда Асадова, жившего в угловом номере, рядом с Татьяной. Но прежде чем “опубликовать” это посланье, я признаюсь: у меня эгоцентрическая память, не помню прочитанного, разве что Библию (ведь каждый день читаю ее), не помню адресов, многих лиц: кто во что одет и т. п., но все свои беседы, все, кто и что сказал мне о моих виршах, все крупные и мелкие события жизни (в особенности смешные), которые происходили либо со мной, либо на моих глазах, помню дотошно. Буквально запомнила и это:

“Многоуважаемый Арсений Александрович!

Уже в 23 часа писатели, работающие в доме творчества находятся в объятиях Морфея. Вы же вместе с Инной Лиснянской громко разговариваете до часу ночи, даже до двух часов. А смеетесь еще громче, чем говорите. Убедительно Вас прошу перевести Ваши разговоры, в особенности смех, на более ранний режим, он и Вам необходим. Помните о Морфее! С уважением Эдуард Асадов”.

Понятно, мы ему мешали спать, ведь у слепого человека слух болезненно обострен. Но над объятиями Морфея опять-таки не могли не смеяться за завтраком. Тарковские переманили меня за свой стол. Я обычно усаживалась слева от столовских дверей, а они — справа. Но тут я с радостью поступилась своей привычкой.

А рифма из асадовского посланья “режим — необходим” прочно вошла в наш обиход, как и “объятия Морфея”.

# *Мир*

*Мы крепко связаны разладом…*

Я зареклась что-либо писать о Тарковском с чужих слов. Если бы позволила себе такое, то это было бы уже не воспоминательное повествованье, а совсем иной жанр, — нечто вроде романа. Но в этой главе мне просто необходимо поведать о ссоре Тарковского с Липкиным и Петровых. О причине ссоры Семен Израилевич в 1967 году, когда нас свела судьба, говорил с горьким сожалением, а Мария Сергеевна осенью 1968-го — со сдержанно-недоуменной обидой.

Друзья с юных лет — Петровых, Тарковский, Штейнберг и Липкин — нарекли свое дружество “Квадригой”. Почему и как разошлись наиболее неразлучные Тарковский и Штейнберг, знаю. Но не стану говорить. А вот о разрыве Тарковского с Петровых и Липкиным не могу не рассказать, ибо именно я их и помирила. Но начну не с этого.

В разговорах со мной и Петровых и Липкин, отдавая дань Тарковскому как поэту, неизменно упрекали его в равнодушной жестокости по отношению, главным образом, к собственным детям. Рисовалась такая картина: Арсик мог себе позволить обзаводиться книгами, пластинками и даже игрушками, в то время как его дети Марина и Андрей буквально голодали вскоре после войны. Их сердобольно подкармливали из раздаточного окошечка кухни, тогда еще не там, где теперь, расположенного переделкинского дома творчества. Естественно, у меня нет и тени сомнения в правдивости Марии Сергеевны и Семена Израилевича. Эту правду по-своему пережил и переосмыслил Андрей Тарковский в своем фильме “Зеркало”. Но мне кажется, что сверстникам-друзьям Липкину и Петровых, взрослевшим и зревшим в постоянной близости с Тарковским, трудно было уследить, что он, даже вернувшийся с фронта без ноги, — сущий ребенок. Все в нем росло с годами — мысль, душа, но только не возраст! Не возраст! Вот потому-то в основном не сверстники, а юные друзья Тарковского, стихотворцы, его ученики, как в устных, так и в письменных воспоминаниях обращают наше внимание на детский характер поэта. Однако чаще всего детские черты характера даются воспоминающими в благостно-розовом свете.

Поэт-ребенок. Такое определение далеко не ко всем поэтам применимо. Например, Липкин, как я догадалась, родился сразу же взрослым и остался таковым, он мою догадку подтвердил,

ссылаясь на рассказы своей матери о нем и на то, что не играл в игрушки и в четыре года уже знакомился с продукцией станка Гуттенберга. Детские черты я, к примеру, нахожу у Мандельштама, но не у Ходасевича, замечаю у Цветаевой, но не у Ахматовой. Конечно, свои наблюдения я черпаю из всего, что открыто или даже спрятано в их стихах, из всего, что написано о них воспоминателями, а тем более из того, что поэты сами сказали о себе, включая и мотивы мифотворчества. Но более ярко выраженного детского характера, чем тот, коим обладал Арсений Александрович, я не встречала ни в жизни, ни в мемуарах. В самих же стихах Тарковского эту детскость можно разглядеть разве что с помощью микроскопа. Однако поэт пишет:

Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.

Теперь следует определить, что есть — ребенок? Беспорочно ли дитя? Ни в коем случае. В ребенке открыты и заострены все стороны, все углы характера: откровенность и скрытность, доброта и жестокость, безобидное тщеславие и корысть, даже хитрость. Все есть в ребенке, кроме, может быть, ханжества. Это потом, потом, с возрастом, человек (а я думаю, что каждый себя хорошо знает) старается скрыть от других неприятные стороны своего существа и распахнуть — свои лучшие. При условии, если человек изначально порядочен. Этим и ограничусь, я ведь не собираюсь писать трактат о детстве личности или о детстве человечества в целом. Я лишь подвожу к тому, что, если в Тарковском и было жестокосердие к собственным детям, — оно шло от того, что сам он был ребенком. Ребенок нуждается в матери. Ею, в какой-то мере, как я понимаю, и была его первая жена Мария Ивановна. Даром ли она, брошенная Тарковским с двумя малыми детьми, всегда, как мне известно со слов опять же Липкина и Петровых, да и из наших с Тарковским бесед о детях, внушала Андрею и Марине, что их отец — поэт, что он добрый и хороший, что на него нельзя обижаться. Так обычно выгораживает мать отбившегося от рук сына перед другими своими детьми.

Но властной и практичной матерью оказалась для Тарковского его третья жена Татьяна Алексеевна Озерская, этому уже я сама свидетельница. Она отлично поняла характер Арсения Александровича. В своей воспоминательной повести я ее называю Татьяной, как мысленно и называла (Арсений же Александрович для меня и в мыслях никогда не был ни Арсиком, как его звали

друзья юности, ни Арсюшей, как его звала Татьяна и как вторили ей некоторые амикошонствующие приятели и домотворческие знакомцы того периода его жизни, который я более или менее знаю).

Что же до самой Т. Озерской, пусть земля ей будет пухом, то, признаюсь, мне не особенно по сердцу женщины этого типа: крупные, твердые, тертые, экономически-житейски целенаправленные, этакие “бабы за рулем”. Особенно мне было неприятно в Татьяне то, как она подчеркивала детскую беспомощность, детскую зависимость Арсения Александровича от нее, даже в некотором смысле культивировала в нем эту беспомощную зависимость. И уже последние годы жизни, как мне рассказывали, Арсений Александрович совершенно не мог без нее обходиться и, если она ненадолго отлучалась, оглядывался и твердил: “Где Таня, где Таня?”.

Но надо воздать должное Татьяне Алексеевне Озерской. Она долгие годы непечатающемуся поэту почти ежедневно повторяла: “Арсюша, ты — гений!”. Об этом мне неоднократно (а скорее всего — себе) напоминал Тарковский именно тогда, когда был удручен какой-нибудь Татьяниной грубостью. А как долгие годы непечатающийся поэт нуждался в такой поддержке — “Арсюша, ты — гений”, — и говорить нечего! Возможно, благодаря именно тем чертам характера Озерской, которые мне противопоказаны, вышли в свет книги “Перед снегом”, “Земле — земное”.

Но перейду к тому весеннему дню, когда я заговорила с Тарковским: а не пора ли вам помириться с Семой и с Марией Сергеевной?

— А почему я должен мириться, да еще первым? Не я же ругал вашего падишаха на секции переводчиков, это он против меня выступил! — выдумал причину ссоры Арсений Александрович, а ведь не мог не знать, что история их разлада мне известна.

— Арсений Александрович, ну, вы-то хорошо знаете, что выступал не Липкин, а Козловский.

— Это одно и то же, — парировал он, — Яшка его любимый ученик. Но с Семой я, верно, помирюсь, как только приедет. А иначе как это мы будем с вами играть в шахматы? (До шахмат было еще далеко). А вот с Марусей — не хочу. Мириться с этой бездарной курицей? Она кроме “Судьба за мной присматривала в оба” ничего не написала. — И тут же наизусть прочел упомянутое стихотворение Петровых. Читал, а в глазах у него светилась любовь.

Но я отреагировала не на свеченье глаз, а на поношенье Петровых.

— Окститесь, Арсений Александрович, Петровых — подлинный поэт, ну как так можно о ней…

— Можно-не-можно, а все равно мириться к ней не пойду. Когда Сема приедет?

— Ладно, поживем-увидим, насчет Марии Сергеевны вы еще передумаете, а Сема приедет послезавтра.

Послезавтра стоял дивный майский день. Мы с Тарковским медленно прохаживались перед нашим “ампиром”. Арсений Александрович всегда выходил с полной горстью хлебных крошек для птиц, не догадывался просто — с куском, ведь можно и на дворе раскрошить. Он разбрасывал крошки, хотя птицам, наверное, уже было что клевать. Другое дело зимняя и ранневесенняя кормушка, которую Тарковский приладил за окном своего пенала. Кстати, в комнатном хаосе был свой порядок, одному Тарковскому известный. Правда, он вечно что-нибудь терял и искал, но вдруг вскрикивал: “Дак я же положил на место!” — и вытаскивал из вороха бумаг, книг и прочего, как из стога сена, именно ту “иголку”, которую положил “на место”.

Тарковский ритуально разбрасывал крошки по нежно-салатовой траве возле ядовито-зеленой скамьи, еще не просохшей от краски, — воробьи так-таки слетелись, — а я нетерпеливо поглядывала в сторону ворот. Накануне по телефону Липкина предупредила: завтра — мир.

— Вон Сема! — Я взяла Тарковского под руку. — Пойдемте.

— И верно, ваш падишах, вы его что — разглядели? С такого расстояния?

— Представьте себе, да.

— Так что же вы, Инна, прикидываетесь близорукой?

— Нет, Сему, как и свою Леночку, я почему-то безошибочно, ну просто чую издалека.

— Сему, может быть, и чуете, но свою дочь… Вы же никудышная мать, никудышная.

Что-то в этом роде я уже слышала от Тарковского, когда он с нежностью говорил о своей Марине и с гордостью об Андрее, с которыми я никогда не была знакома. Запомнилась фраза: “Видно, на моем Андрее и на вашей Лене природа не отдыхает — таланты. Но зачем я вам это говорю, вы — отъявленная немать”. “Немать” он произносил слитно в наших беседах о детях. Я не возражала. Видимо, мое невозражение только укрепило его в мысли, что я немать. И я, двигаясь с ним навстречу Липкину, не откликнулась на “никудышную”. Слишком больно даже сейчас вспоминать. Поэтому вряд ли напишется глава “Дети”, как задумывалось первоначально.

Мы встретились у мостика перед левым от ворот коттеджем.

— Арсик!

— Семочка!

Они пожали друг другу сразу обе руки. Я видела, как повлажнели голубо-зеленые, с широкими верхними веками, слегка выпуклые глаза Липкина и черные, глубоко посаженные, вразлет живущие под высокими бровями глаза Тарковского. Возможно, глубокопосаженность подчеркивали уже образовывающиеся подглазные мешки. О чем говорили, идя от мостика до некрашеной скамейки под березой, да и усевшись на нее, — не помню. Думала о своем, собственно начавшемся с 67-го года бездомье, которому не было видно конца. Конечно, раздумалась я и о своем уходе из дома в Химках, где в сущности прожила всего около двух лет и которого, с 1962-го опять-таки бездомная, три года ждала вместе с моим бывшим мужем. Дочь еще находилась в лечебном интернате. Ясно: “никудышная мать”, беззлобно оброненное Тарковским, как нечто само собой разумеющееся, все гудело и гудело в моей голове…

Мы сидели на скамейке под той самой березой, где Тарковский неделю назад горько плакал, да что там плакал — рыдал. Он кормил не только птиц, но и белочек приманивал, стуча друг о дружку двумя половинками грецкого ореха, не однажды и конфету “грильяж” белка ела с его ладони. И вот белка спустилась не как обычно, по рядом стоящей сосне, а по березе. И вдруг, на наших глазах, черная кошка сцапала спешащую к Тарковскому белочку. Тарковский застыл и через мгновенье, уткнувшись лбом в спинку скамьи, заплакал навзрыд, безутешно причитая:

— Будь я проклят, и ты будь проклята, проклятая Мариэтта (откуда он знал, что хозяйка кошки — Мариэтта, не ведаю, но, как выяснилось, это была действительно кошка Шагинян).

На плач сбежалось несколько обитателей Дома творчества, выбежала и Татьяна. Мы долго, кто как мог, его утешали.

Когда мы с Липкиным и Тарковским поднялись со скамейки, я уже отжалела себя и была счастлива, что друзья с самой юности наконец помирились. Увы, мир не вернул их к прежним горячим отношениям и как бы застыл на уровне кратких встреч и бесед о русской словесности и политике. Друзья-поэты обычно, помирившись, предаются естественным, почти сентиментальным воспоминаниям, жадно читают друг другу. Нет, этого не случилось. Это случится года через полтора, когда я помирю Тарковского с Петровых. И он не только на вечере ее памяти в 1980 году, как мне передавали, назовет ее имя вслед за именами Ахматовой и Цветаевой, но и напишет предисловие “Тайна Марии Петровых” к ее посмертно изданной книге стихотворений

“Предназначение”, где мы читаем: “Тайна Марии Петровых в том, что она поистине большой русский поэт”.

Видимо, не умел Тарковский быть хоть сколько-нибудь объективным, не умел отделить поэта от человека, творимое от творящего, если обижался. Не умел и все. У него была прекрасная душа, но история ссоры была далеко не прекрасна, более того — некрасива, поэтому-то я сначала написала, как помирились Тарковский с Липкиным после десятилетнего неразговаривания, отдаляя раскрытие причины разрыва отношений, в котором изначально повинен Арсений Александрович.

Впрочем, по порядку. В каком году — не знаю — Тарковскому при его нелюбви к переводческому труду и в то же время при его безденежье, пришло в голову привлечь к переводу туркменской классики свою давнюю подругу Юлию Нейман, тогда еще безвестную и очень нуждающуюся в заработке. Поскольку переводы были заказаны Тарковскому, он договорился с Нейман, что работа под его именем делится пополам и гонорар пополам. Книга вышла, гонорар был поделен. Через какое-то время Юлия Нейман узнала, что вышло второе издание этой книги (в скобках замечу — речь не идет о блестяще переведенном Тарковским сборнике стихотворений Махтумкули). Гонораром за переиздание Тарковский с Нейман не поспешил поделиться. Нейман же поспешила пойти к Ахматовой, пожаловаться. Ахматова же вместо того, чтобы поговорить с Тарковским, вызвала по отдельности Липкина и Петровых и поручила им восстановить справедливость. По словам Марии Сергеевны, она тактично, с сестринской нежностью начала увещевать Арсика, но тот ей:

— Твоя Юлка — клеветница, а с тобой я больше ничего общего иметь не желаю.

Липкин же мне рассказал, что говорил с Арсиком по-матросски грубо. Результат тот же — разрыв. Вся эта прискорбная история, по моей прикидке, могла произойти не ранее августа 62-го и не позднее осени 65-го. 13 июля 1962 года Тарковский подарил Липкину “Перед снегом” (книга передо мной):

> “Дорогому Семе Липкину, большому поэту и другу, испытанному в боях за точную рифму, вечную истину и личную правдивость художника с любовью от Арсения”.

Ахматова в конце 1965-го тяжело болела, а в марте 66-го ее уже отпевали.

Хотя меж примирением Тарковского с Липкиным до мира с Петровых, как я уже сказала, должно пройти еще немало времени, я сейчас же напишу, как Арсений Александрович помирился с Марией Сергеевной.

Тарковские на недельку уехали на городскую квартиру по делам, а я на столько же — к Марии Сергеевне, которая жила в начале Хорошевского шоссе, на втором этаже двухэтажного дома, построенного пленными немцами. По настоянию Литфонда, который и пошел мне навстречу ввиду моего бездомья, я должна была делать хоть малый перерыв между двумя сроками (“сроком” называется двадцатичетырехдневное пребывание в доме творчества по путевке), чтобы не раздражать домотворческую публику. За путевки (дешево и удобно) шли бои, особенно в летнее время, а за продление срока — тем паче. И вот в очередной перерыв меж “сроками” я и гостила, как всегда, у Петровых.

Мария Сергеевна готовила на кухне свои фирменные “лапти” — длинные и плоские картофельные зразы. Зазвонил телефон, и я взяла трубку. Звонила Татьяна:

— Инна, Арсений Александрович хочет вас накормить ужином в ЦДЛ и увезти в Переделкино.

— Спасибо, Татьяна Алексеевна, но передайте мои условия: я не вернусь в Переделкино, если сегодня же Арсений Александрович не помирится с Марией Сергеевной.

— Но как это сделать? — голос Татьяны уже не был сухим, а радостно озабоченным.

— Просто, Татьяна Алексеевна, когда подъедете, гудните дважды. Как мужчина Арсений Александрович должен был бы подняться на второй этаж, но поскольку он на протезе, пусть поднимется на один пролет, а Мария Сергеевна на один пролет спустится. Она, я уверена, возражать не будет. Да, еще передайте, что площадка меж этажами — демаркационная линия, это его рассмешит.

“Демаркационная линия” рассмешила и Марию Сергеевну. Она быстренько сменила домашний халатик на юбку с кофтой, попудрилась перед зеркалом, подкрасила губы, надела платочек, повязав его на затылке (без платочка, из которого как бы росла ее негустая челка, она никого у себя не принимала и сама никуда не выходила).

Машина дважды проклаксонила, и мы с Марией Сергеевной спустились на пол-этажа. Тарковский уже поднимался. Боже, как они обнялись! Обхватили друг друга руками и долго, как мне показалось — бесконечно долго, молчали. Хрупкая Мария Петровых, по Мандельштаму, “маленьких держательница плеч”, и широкоплечий, статный Арсений Александрович.

Тарковские переселялись из Переделкина на свою дачу в Голицыне в последних числах июня. А Петровых уже, кажется с 73-го года предпочла переделкинский дом творчества

голицынскому, а впоследствии и дачку снимала там же. И я знаю, что, по крайней мере, июль и август с момента замирения Тарковский и Петровых почти ежедневно виделись, обожая друг друга, виделись до самого 78-го, вплоть до страшной болезни Марии Сергеевны.

Запомнила же я время отъезда Тарковских на дачу, так как в 73–74-м годах мы отмечали наши дни рождения вместе, в буфете и в комнатах. Два дня подряд, у меня день рождения 24 июня, у Тарковского — 25-го. Нет, три дня подряд: 23 июня — день рождения Ахматовой, которую Тарковский любил, пожалуй, больше всех поэтов нашего века.

# *Беседы*

*И потому семья*
*У нас не без урода.*

После письма Асадова насчет “объятий Морфея” мы то засиживались в холле, где впоследствии играли в шахматы, то все же оставались в номере Тарковского, стараясь говорить тихо и давясь смехом. Это касалось наших рассказов друг другу из жизни, которые он называл “смешнушками”. Но возникали и вполне серьезные разговоры о русской поэзии, рифмах, эпитетах, русском языке. Кстати, Тарковский к иностранным языкам был глух напрочь, не знал ни одного, хотя, по его словам, учился в гимназии, но даже из гимназии не вынес, например, древнегреческого и латыни. Свою неспособность к иноязыкам комментировал важно: русская речь самая великая в мире, и ею полны не только мои уши, но каждая клеточка организма.

Я постараюсь собрать в этой главе почти все, что мне запомнилось из серьезных бесед и споров, конечно же, это не означает, что мы отказывались от шуток.

Дней эдак через двенадцать после нашего первого чаепития Татьяна предложила:

— Давайте соберемся в двухместной комнате у Нины Бать (рижанка, переводчица, друг Татьяны, да и Тарковского). Пусть Инна почитает нам свои стихи, и ты, Арсюша, прочти новые.

Тарковский поддержал:

— Это было бы чудесно.

Но я-то видела, как потускнели его глаза. Я отлично его тоску поняла: было так весело, кто ее знает, чего она там пишет, еще и врать придется… Я попыталась выручить его, да и себя, отнекивалась, но Татьяна настаивала, и он с тоскливостью в глазах поддакивал ей.

Теперь уже не помню, собрались ли мы у Нины Бать или еще у кого. Я прочитала шесть или семь коротких стихотворений. После каждого Татьяна одобрительно кивала своей массивной, хорошо поставленной и ухоженной головой: замечательно, прекрасно, интересно… Остальные молчали, ожидая, видимо, одобрения мэтра. Но и после того, как я закончила чтение, Тарковский отсутствующе молчал. Татьяна, чтобы сгладить возникшую неловкость, еще говорила какие-то слова и подталкивала взглядом мужа: дескать, хоть как-то отзовись…

— Спасибо, — отозвался Арсений Александрович, а от чтения своих стихов отговорился:

— В другой раз.

Я была страшно огорчена, и не только потому, что стихи не понравились, к этому я привычная, а потому, что теперь невозможны будут такие доверительно-смешливые вечера, которые мы проводили, ведь они тогда были, может быть, единственным приютом беспечности в моей бесприютной озабоченности завтрашним днем.

К завтраку я не вышла, — я и прежде, пока не пересела за стол к Тарковским, завтракала у себя — кофе, сигареты. За час до обеда Арсений Александрович пришел ко мне со словами:

— Инна, оказывается, Липкин счастливец! Врать и изворачиваться не приходится. Вы, верно, — поэт. За вчерашнее простите! Меня уже и Таня пилила, некрасиво ведешь себя, если понравилось, чего молчал? А я думал, потому что слушал. Больше всего люблю поэтов, идущих от Баратынского. Прежде всего — мысль. Но не ею вы сильны. Чувством — да, но избавил вас Господь от задушевности. Терпеть ее не могу в поэзии. Задушевность — ложь, а в нынешней бездушности она — еще большая ложь. Но и не чувство главное у вас, а музыка, традиционная, но ни на кого не похожая, и слово дышит, а музыка редкостно русская.

— Вот и Пастернак заметил русскую музыку, выслушав три моих стихотворения, — хвастливо ввернула я.

— На самом деле и одного достаточно, чтобы понять: поэт или непоэт, — словно продолжая свой монолог, сказал Тарковский и вдруг вскинулся: — А при чем Пастернак? Его поэзия чужда мне, она вот какая: сидят бабы на завалинке, а он на велосипеде перед ними восьмерки выделывает.

Это “образное высказывание” было еще до того, как Тарковский бранил стихи Петровых, до того, когда я поняла, что он — ребенок, что, может быть, его чем-нибудь и Пастернак обидел. Мне потом только вспомнилась строка Тарковского: “как скрипку я держу свою обиду”. У меня язык окаменел, чтобы возмутиться. Я тяжело, виновато перед Пастернаком, молчала.

А Тарковский, словно бы походя сказав очевидное, продолжал:

— Кстати, вы прочли стихи о платье. Так вот, рифма “кстати” — “платье” более удобоваримая, чем в ваших стихах: “платье” и “хватит”. Там у вас платье висит на гвозде и кажется вам казненным. Это не платье, а вас, Инна, следует за такую рифму на том гвозде повесить.

Недолго же я виновато молчала.

— У меня с этим моим “Платьем” смешная история. Оно написано несколько лет назад. Тогда, когда мы с Ахмадулиной

здесь совпали. Нас попросила Елена Михайловна Тагер прочесть по стихотворению. Белла прочла какое не помню, длинное, но хорошее, как всегда у нее — живущее на естественном дыхании, а я короткое, еще совсем новенькое “Платье”. Я поняла, что Ахмадулиной не понравилось, решила уточнить: “Тебе не понравились мои стихи?”. Ахмадулина растерянно посмотрела на меня темноспелыми глазами-вишнями и развела руками: “А что в них плохого?”

— Это надо взять на вооружение, — рассмеялся Тарковский.

— Мы с Марией Сергеевной и взяли. Если человек хороший, а стихотворец посредственный, мы говорим о его стихах: а что в них плохого?

— И в самом деле, а что в них плохого? — Тарковский, смеясь повторил мой жест, широко развел свои большие руки. — А на мое желание вас за неточную рифму повесить не гневайтесь, — и тоже хвастанул, да еще, наверное, преувеличенно, — я и Анну Андреевну учил рифмовать точно. Ну как можно в великом стихотворении о Лотовой жене допустить рифму: “заре” — “посмотреть”?

— Значит, так Ахматовой было нужно.

— Аха, значит, и вам можно “хватит” — “платье”?

— Нет, то, что позволено Юпитеру, мне не позволено.

Тарковский понятливо улыбнулся и тут же посерьезнел:

— Признаться, я боялся вашего чтения, ведь с вами так легко, вы не требуете от человека человека. И я не требую. И вот грех на мне. Я о Марине. О Цветаевой. Она требовала слишком многого, слишком. Полсердца — пожалуйста, но ведь не все, а ей отдай и легкие, и печенку, и селезенку. И прозевал, прозевал. Отошел от нее в самое неподходящее, в самое черное для нее время. Не знаю, простит ли мне Господь, но до конца своих дней не прощу себе… А насчет стихов я был с ней честен, восхищался многими ранними и неодобрительно высказывался о поздних. Не терплю футуристического модерна, анжанбеманов.

И еще долго говорил о Цветаевой, ссылаясь на ее стихи и поэмы: что и за что любит и чего не приемлет. Но точно я не помню. А тут дело тонкое, профессиональное. Точно не помнишь — молчи. Воспроизводить, как мне кажется, нужно лишь то, что намоталось на слух, как на магнитную ленту.

Тарковский, долго говоря о Цветаевой, виноватился, как я тогда понимала, общей виной всех друживших или знакомых с нею. Собственно, чувство вины легко вычитывалось даже из трех его стихотворений о Цветаевой в сборнике “Земле — земное”. (Чувство вины и покаяния вообще свойственно Тарковскому в поэзии, но не в жизни.) В третьем по счету стихотворении можно

было увидеть, если вникнуть, и то, что это были не просто дружеские, а гораздо более близкие отношения, и также то, что было неприемлемо Тарковским в поэтике Цветаевой. О “неприемлемости” говорит конец стихотворения “Через двадцать два года”:

Как я боюсь тебя забыть
И променять в одно мгновенье
Прямую фосфорную нить
На удвоенье, утроенье
Рифм — и в твоем стихотворенье
Тебя опять похоронить.

Но тогда я об этих стихах Тарковского и не вспомнила. Меня так изумил Тарковский с первых же дней нашего интенсивного общения своей как бы полной непохожестью в жизни на его поэзию, что многие высказывания Арсения Александровича, например, о поэтике, я не сопрягала с его собственными стихами. А ведь в них уже все сказано, Тарковский бесстрашно употреблял глагольные рифмы и даже не боялся избитых типа: “чудо” — “откуда” — “неоткуда” или “меня” — “дня” — “огня” и т. д. и т. п., чего чурались тогдашние стихотворцы и чураются нынешние. Значит, не так-то он был и непохож на свою поэзию. Однако первое впечатление от Тарковского было настолько сильным, что я от него не могу избавиться. И свои воспоминания замыслила как о поэте-ребенке. Я мало пишу о поэтике Тарковского, она ждет своего пристального исследователя. За меня же никто не расскажет того, чему я была очевидицей и ухослышательницей.

А в тот день, серый от обессиленного снега, впавшего, как в обморок, в дождь, Тарковский так разговорился, что я напомнила: время переделкинского обеда миновало, а он забыл позвать заработавшуюся Татьяну. За столом Арсений Александрович выслушал вполне справедливый выговор и опасно отшутился: “Счастливые часов не наблюдают”. Но перед тем как я спохватилась: “Обед, обед!”, — Тарковский вернулся к моему распроклятому “Платью”:

— Кстати, платье. Вы его не с той ли веревки стянули, на которой в моем стихотворении Марина развешивает платье? — и прочел две первые строфы из “Стирки белья”:

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее

Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настежь, и платье
Развешивает. Все равно,
Пусть видят и это распятье.

— Вполне возможно… Да плюньте вы на это платье. А что в нем плохого? — я рассмеялась. — Если и стянуто у вас, то — лунатично. А вот пас-тер-на-ковс-кая лексика так и прет у меня из одной строки: “Мешало наличье дождя”. — Да и вообще Пастернак — один из самых любимых моих поэтов, — с опозданием я встала на защиту того, кто ни в чьей защите не нуждается.

Теперь назову имена, которые всегда были на устах у Тарковского в описываемое мною время, само же время — не влезет.

Прежде всего — Баратынский. Арсений Александрович даже подарил мне томик Баратынского со своими пометками на полях и попросил на досуге их внимательно рассмотреть. Я их тогда же и рассмотрела. Суть пометок такова: Тарковский прослеживает развитие мысли Баратынского.

Мыслить, что ли, меня призывал? Сейчас хватилась, да не умею разыскивать, а скорее всего, потерялся томик в моих бесконечных переездах с места на место до этого дома, в котором сегодня тревожно зимую. Да и знаю: начну бессмысленно искать и застопорюсь, и больше — ни слова. Семен Израилевич всю эту неделю за приемом пищи надо мной обеспокоенно подтрунивает:

— Ты, как Бальзак, круглосуточно строчишь, правда, не два литра кофе в день хлещешь, а один, но куришь по две пачки сигарет! Роман, что ли, сочиняешь о новых Гобсеках?

После Баратынского шли у Арсения Александровича: Анненский, Ахматова, Ходасевич, Мандельштам. Помню и кого резко отрицал: Бунина и, неожиданно для меня, — Блока. Хоть я и помнила строку Тарковского: “Где кудри символистов полупьяных?” — но с кудрями Блока не ассоциировала, скорее — с кудрями Белого. О Блоке у нас были длинные споры, но я уже понимаю — всего в этой наметившейся почти книге не напишешь. Иначе из жанра выбьюсь окончательно. Но одно или два высказывания Тарковского все же приведу:

— Ну что это такое — “И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу”. Как могут перья качаться в мозгу?

— Следует понимать как — в памяти, уме… В сознании.

— Так бы и написал.

Наши беседы о русской поэзии, как и о советской, возникали спонтанно, чаще всего отталкиваясь от какого-либо из его или моего рассказов. Так, рассказывая о своем фронтовом приятельстве с Твардовским, Арсений Александрович заметил:

— Трифонович, конечно, поэт, но поэт-чиновник, писал то, что следует в то или иное время. В свой же “Новый мир”, только усредненные стихи брал даже у неплохих стихотворцев. Истинных не ценил, например, Мандельштама.

— Но ведь Твардовский Ахматову высоко ставил, — возразила я, — да и у самого есть пронзительные чистой пробы стихи (а про себя подумала, что Арсений Александрович обижен: Твардовский его ни разу не напечатал, хотя они встретились на фронте и вроде бы подружились).

— Есть, не спорю. Но что до Ахматовой, Трифонович тогда ее вознес, когда она уже на пьедестале стояла.

— А Самойлов? — снизила я уровень, — ведь и его Твардовский печатал.

— Самойлов безусловно даровит, но мне нравится кем-то пущенная о нем шутка: “Наш Пушкин”. В этой шутке что-то есть.

Неожиданно я узнала и о, мягко говоря, безразличье Тарковского к Есенину. Как-то у меня в очередной раз забарахлило сердце. Надо сказать, за мной и Татьяна приглядывала, а уж Тарковский оказался на редкость внимательной “сиделкой”, и я вспомнила:

— Знаете, Арсений Александрович, в 62-м году, когда я, в буквальном смысле слова, на ногах не стояла, Коля Рубцов трое суток не отходил от меня, и — ни одной чекушки, все стихи свои читал, замечательные стихи.

— Подражатель Есенина, а я и самого-то не почитаю. Вам Есенин, верно, по душе, первой реальностью не брезгуете. Вот Клюев — поэт без дураков. Хотя и играл мужичка в кафтане, а человек образованнейший.

Между прочим, Тарковский не давил на собеседника эрудицией, не уличал в невежестве. Известно, что Арсений Александрович был не только страстным любителем, но и знатоком астрономии. Заговорив со мной однажды о кольце Сатурна и поняв, что перед ним — полный профан, не выказал и тени удивления. Зато время от времени незаметно, исподволь просвещал меня, рассказывая “географию” неба и даже когда и кем была наречена та или иная звезда или созвездие. Увы — не впрок… Тарковский познакомил меня и с подробностями жизни и поэзии Сковороды, а значит, и с его метафизическим мышлением. Он почитал этого святого странника почти ученическим

почитанием, что и чувствуется в его стихах о Сковороде.

Теперь, когда наступила прекрасная эпоха поэтики Бродского (об иных нынешних “школах” я говорить не хочу, они существовали и в начале века, какие в цвету, а какие в зачатке), читателю, да и образованной, однако слишком петушливой критике трудно разобраться в нюансах традиционной, но все равно новой поэтики Тарковского. Для их слуха в произведениях этого “традиционалиста” как бы стерлось не только новое, только ему свойственное, но и — отголоски разных поэтов, отголоски смысловые, интонационные, стилистические и образные Баратынского, Тютчева, Анненского и Мандельштама. Такие читатели и критики часто по своему молодому революционному недомыслию идентифицируют русскую классику советского времени с соцреализмом.

Томик Анненского из той же малой серии (“Советский писатель”, 1939), что и Баратынского, мы читали вслух и не только с Тарковским. Томик сохранился, по почеркам узнаю пометки и Липкина, и Петровых, и даже мои. Тарковский перемежал наше чтение Анненского разговорами о его судьбе. Он так жалел Анненского, словно тот еще на земле, а его все не публикуют и не публикуют. Много, сочувственно и восхищенно говорил Тарковский о судьбе поэзии Георгия Иванова. Мы почему-то хором читали “Эмалевый крестик в петлице”, жалея царя и его семейство, а заодно и Георгия Иванова.

Если же перейти к поэтам поколения Тарковского, — только Заболоцкий выделялся им особенно. Что же касается так называемых поколений военных поэтов и шестидесятников (условны не только названия школ, но и поколений), то тут Тарковский даже не острословил, а язвословил:

— Слуцкий? Согласен, он в некотором роде нов. Но когда впадаешь в безритменный бытовизм, следует двигаться, как канатоходец, балансируя. Но Слуцкий — краснолицый комиссар. Комиссары не понимают гармонии. Его разнесчастные рыжие лошади так и останутся на дне океана, не воскреснут. Нечего было выступать на собрании (имени Пастернака не произнес), потому что: “Блажен муж, который не ходит”.

И тут я подхватила: “…на совет нечестивцев, и не стоит на пути грешников, и не сидит в собрании развратителей”.

Тарковский оторопело поправил меня: “Не нечестивцев, а нечестивых, и не грешников, а грешных, но откуда вы знаете Псалтирь?”

Я удивилась в свою очередь:

— Вы же у меня не впервые. Неужели не заметили — на тумбочке всегда Библия? Вы что, только бревно в чужом глазу

замечаете?

Тарковский сидел в кресле, в углу, а я на кровати, по диагонали от него. Арсений Александрович перевел взгляд на тумбочку возле кровати:

— Да-а-а, — протянул он, — лежит. — И ушел в себя и к себе.

Тарковский — домосед. И все же пусть не сложится впечатление, что если он и выходил на улицу, то гулял лишь по территории дома творчества. Иногда мы с ним пускались и в сравнительно длинные пешеходные путешествия.

Так, однажды созвонившись с Кавериным, двинулись к тому на дачу. Июнь приторно благоухал запоздалой сиренью. Казалось, что от елей и сосен из-за заборов в основном чиновно-писательских дач и адмиральских веет густо-сиреневым запахом. Мы прошли до самого конца улицы Серафимовича, надо было свернуть на улицу Горького, где и жил круглогодично добрейший Вениамин Александрович. На повороте с Серафимовича на Горького решили передохнуть. Только бревна свежераспиленной сосны, на которую мы уселись, стойко продолжали выдыхать смолу. Дорогой мы весело обсуждали вчерашнюю покупку — английский ситец и то, как следует дешево, но со вкусом обставить мою будущую квартиру. Усевшись, Тарковский круто изменил тему:

— Ваши три фаворита (“мои” — потому, что всегда заступалась) держали не просто кукиш в кармане, а из своих сердец кукиши понаделали. Я-то вам не однажды говорил, старики часто говорят одно и то же, — перебил он себя же, — не перевариваю политических стихов, публицистика — непоэзия. Даже Тютчев слаб в славянофильских рифмованных высказываниях. (Нынче кто только не говорит, что поэзия и политика — несовместимы, но тогда так думали, во всяком случае — высказывались, немногие). Что стало с их кукишевидными сердцами, да и с мозгами, когда появился “Иван Денисович” и вообще бескомпромисный Солженицын? Что осталось от их кукишей — пшик один. Из вашей тройки лишь Андрюша Вознесенский поначалу здорово мастерил, я имею в виду художественность, а после фокусничать взялся. Инна, вы еще увидите, до чего он дофутуристничает. “Мастерил”, по-Тарковскому, — высокая похвала, а футуризм — почти матерщина.

— Но при чем тут Вознесенский? — проигнорировала я “художественность”, — публицистикой он почти и не занимается, разве что Ленина однажды воспел. А вы что не открыли свой первый сборник признанием в счастье, что не в переводе, а в подлиннике Ленина читаете?

— Вы — просто бессовестная, — вспылил Тарковский, — когда это было — в сороковом! Стихотворение — паровоз, чтобы книгу потянуть. Но и с этим паровозом книжку отвергли.

Но тут, слава богу, появился Каверин, вышедший нас встречать. Впрочем, наши с Тарковским литературные “перебранки” никогда не заканчивались ссорой. Написавший “Я тень среди теней”, напомню, и ссорился только с теми, кто есть, и ополчался на тех, кто есть, вне зависимости от того, умер поэт или жив. К тем, кого “нет” в русской словесности, Тарковский относился со снисходительным равнодушием и с некоторой долей жалости. Об этом, идя с Кавериным и Тарковским мимо еще одной адмиральской дачи на Горького, я и размышляла, полуслыша, как Арсений Александрович уже говорил о художественных просчетах “Ракового корпуса”, о слабо написанной линии любви, а Вениамин Александрович отстаивал Солженицына как художника.

Как-то поздним вечером, еще в начале нашей дружбы, я пришла к Тарковским не только с полдничной, помнится, ватрушкой, но и с двумя напечатанными на машинке стихотворениями Чухонцева, первое о попугае, а второе — нет, боюсь ошибиться. Тарковский прочел и сказал: “Замечательно!”, — но сказал так, будто я сделала открытие.

— Арсюша, не прикидывайся! — и Татьяна обернулась ко мне. — Чухонцев в прошлое лето появлялся у нас на даче и читал стихи.

— Верно. Но Инна хотела мне сделать сюрприз. Ты же не говоришь, когда тебе что-нибудь дарят, что у тебя это уже есть, — и мне:

— Чухонцев — серьезный, а книги у него все еще нет. Вот так-то. Впоследствии я замечала, что эпитет “серьезный” возникал (это относилось и к поэтам прошлого столетия) в тех случаях, когда Тарковский имел в виду оригинально мыслящего поэта, что, повторю, боле всего ценил.

В тот же вечер мы, чтобы не мешать Асадову, перебрались в холл. Впервые Арсений Александрович мне назвал имя Ларисы Миллер, это было единственное имя, которое он и позже неоднократно мне называл, если речь заводилась о молодых, подчеркну — о непечатающихся. В период нашей недолгой, но взаимно интенсивной дружбы я от Тарковского никакого другого “молодого” имени не слышала. А в тот вечер Тарковский наизусть мне прочел, как я узнала спустя много лет, посвященное ему стихотворение Ларисы Миллер. Оно мне очень понравилось, а Арсений Александрович посмотрел на меня горделиво, словно бы сам написал или выиграл шахматную партию. В стихотворении

говорилось что-то об иконе, и оно вписывалось в полумрак, в котором мы сидели: на двух стенах оставлялись на ночь только два невыключенных свечкообразных бра.

Видимо, из-за церковно-обрядовой окраски этого стихотворения разговор перешел к излюбленной Тарковским теме — ложной религиозности символистов, в частности — к Блоку:

— Куда это годится, превращать прекрасную даму в Пречистую Деву Марию? Чистой воды язычество. Верно, слишком много воды, туману, кораблей и парусов. (Тарковский часто употреблял “верно” как утвердительно, так и предположительно).

— Помилуйте, Арсений Александрович, в ваших стихах встречаются чисто знаковые корабли, крыла и паруса.

— Никакой символистской эмблематики у меня и быть не может. С детства обожал Лермонтова. Мои “крыла”, верно, из “По небу полуночи ангел летел”, а паруса, хоть их у меня раз-два и обчелся — из “Белеет парус одинокий”.

— Вот именно, верно, — передразнила я Тарковского, — неужто вы не обратили внимания, что “Белеет парус одинокий” — произведение символистское?

— Инна, — засмеялся Тарковский, поняв, что я его передразниваю, — верно, вы и блещете красотой, но умом отнюдь не блещете.

— Согласна, я — дура, но и дураку видно: в трех строфах — три разные погоды. В первой — туман, во второй — буря, а в третьей — солнечное небо и “струя светлей лазури”. Разве — не символизм?

Тарковский озадаченно замолчал. Но в озадаченном замолкании я усмотрела растерянное согласие, ибо в любом споре последнее слово Тарковский оставлял за собой.

О Кушнере заговорил Тарковский ни с того ни с сего. Вспомнилось, иногда мы все же покуривали в холле меж кадками с экзотически-южными растениями, отгороженными от зимы двойной стеклянной стеной, в стекле всеми цветами радуги искрился мороз.

— А как вам Кушнер?

— Очень изящный, прелестное перо.

— Инна, а с каким знаком?

— Естественно, со знаком плюс.

— Неестественно. Изящен. То же самое о Кушнере мне говорила Анна Андреевна, но со знаком минус.

Тарковский частенько фантазировал, свои собственные соображения вкладывая в чужие уста, а чужие — присваивая себе. Но тут Тарковский ничего не присочинил. В 84-м или в 85-м в

разговоре по телефону меня, между прочим, спросила Лидия Корнеевна Чуковская, что из поэзии я читала в последнее время.

— “Таврический сад” Кушнера.

— Ну и как вам Кушнер?

— Очень изящный поэт.

— Это вы с каким знаком?

— Со знаком плюс.

— Анна Андреевна тоже говорила — изящный, но со знаком минус.

Ну почти точь-в-точь повторился давний разговор Тарковского со мной. Бывает же такое!

Но в тот послеобеденный перекур между кадками я вступилась:

— Кушнер ничего социально заказанного, что вам так противно, не пишет.

— Ошибаетесь. Это вам не “Белеет парус одинокий” — неуместно возразил Тарковский, — Кушнер конъюнктурен на свой лад. Он поумнее вашей любимой тройки. У него телячий, розовый восторг перед жизнью. Такую розово-приподнятую интонацию можно услышать от любого нашего диктора в последних известиях. Розовый, как этот цветок олеандра рядом с нами, когда в стекле — лютый мороз.

Однако я остаюсь при своем плюсе.

Зависти ни к кому и никогда в Тарковском я не замечала. Но ревнив он был чрезвычайно. Ревновал “несравненной” ревностью, и в его стихах “ревность” встречается чаще, чем “обида”. Вот, например, строки из близких и далеких по времени написания стихотворений:

“И ревностью шести веков изранен” или “Я не ревную к моему врагу”, или “Безвозмездно мне сердце изъела / Драгоценная ревность моя”.

Ревновал он, как я понимала и чувствовала, только двух поэтов — Бродского и Липкина. Когда бы я ни заводила речь о Бродском, Арсений Александрович задумчиво отвечал:

— Анна Андреевна его ценит очень высоко. (Тарковский упоминал Ахматову почти в каждом разговоре и часто — в настоящем времени).

При этом его лицо разглаживалось. Уже не столь тонкие морщины как бы впитывали в себя все, что он знал теперь о Бродском, все его стихи, ходившие по рукам и внимательно прочитанные, как мне думается, Арсением Александровичем. И все же однажды из-за Бродского мы чуть было не поссорились. Если бы моя приятельница неделю назад в ответ на мои сетования: “Ни одной книги Тарковского с автографом я не

оставила”, не подошла бы к книжным полкам и с легкостью ни отыскала бы книжек с надписями мне и Липкину, я вряд ли бы вспомнила, что в середине февраля 75-го я очередным своим восхищением поэзией Бродского вынудила Арсения Александровича произнести:

— Он — не мой поэт.

— Так, значит, все-таки — поэт! А “мой” или “не мой” — не к лицу вам. Так говорят в мелкотравчатой среде. Вы сами мне жаловались: многие мелкие стихосочинители, когда им указываешь на элементарную неграмотность, отвечают: “Это — мое!”

— Ну что вы со своим Бродским носитесь? Он — не мой, потому что слишком длинно без стержневой мысли пишет, неоправданно длинно. К чему русской поэзии его бесконечные анжамбеманы? Особенно мне противопоказан его ернический скептицизм.

Но дальше я не слушала Тарковского, оскорбительно дерзила:

— Выходит, вы солгали, написав: “Я новое любил за новизну”. Вы — ретроград, вы неисправимый эгоцентрик, — и пошла к дверям, вон из его комнаты. Тарковский бросил мне вдогон:

— Поэт и должен быть эгоцентриком, а вы всеядная эклектичная овца!

Но назавтра мы встретились за обедом как ни в чем не бывало. Арсений Александрович учтиво отставил от стола стул и, когда я уселась, протянул мне сборник “Стихотворения” (“Художественная литература”. 1974). Я, как и полагается, раскрыла книгу и прочла на титуле: “Инне Львовне Лиснянской с сердечной благодарностью за добрые слова 16/II-75 А. Тарковский”.

Бывает, что надпись на титуле понятна лишь тому, кому адресована. “Добрые слова” были ответом на мою вчерашнюю вспышку негодования. Я не напомнила Тарковскому, что недели две тому он мне презентовал эту же книгу, — надпись не содержала тайны, была преувеличенно лестной. И к чему мне было вспыхивать, достаточно вспомнить строки Тарковского: “Спасибо, что губ не свела мне улыбка над солью и желчью земной”.

У Тарковского с Липкиным дело обстояло гораздо проще и именно поэтому гораздо сложней. На мой взгляд, между ними — взаимодавнее соперничество. Но Липкин если и ревновал, то тщательно прятал свою ревность. А Тарковский ревновал по-детски открыто, ревновал даже ко мне:

— Подумаешь, ваш падишах Семочка написал несколько поэм. Две — политические и никуда не годятся, подумаешь, над “Техником интендантом” Ахматова плакала! Вы что, воображаете, что над моими стихами не плакала?

В скобках, не делая скобок, уточню, что о “плакала” Тарковскому, видимо, сама Ахматова и сказала. Ибо Липкин об этом вспомнил только в 79-м, когда перевозил ко мне свои книги (дарственные и еще специальную литературу по Востоку, и разрозненные тома из “Библиотеки поэта”, а также тома собственных переводов), и я наткнулась на книгу Ахматовой с той самой надписью, в которой и говорится: “однажды плакала”.

Я не бросалась на защиту Липкина, когда Тарковский начинал бранить его поэзию: “Подумаешь, эпик, буниновец…”. Я только махала рукой и смеялась. Он мне о Липкине имел право говорить все что угодно. В этом повинна я, сама дала Тарковскому такое право, часто жалуясь на свою личную жизнь, насчет которой Тарковский каламбурил — “лишняя жизнь”. (В стихах же не допускал ни каламбуров, ни дешевых аллитераций). Не скрою, Тарковского, как и Петровых, печалило мое бездомно-непонятное положение. Но тут Тарковский рассуждал здраво:

— И не ждите, Инна, от падишаха того, на что пошли вы. На бездомье он, с его патологической страстью к порядку, к режиму, ни за что не отважится. Обретете крышу, тогда все и образуется.

В 1975-м Арсений Александрович прочел мне свою поэму “Чудо со щеглом”. Я, не сразу поняв прелесть услышанного, сказала:

— Спасибо. Вы прочитали мне очень-очень милую вещь, с очаровательными отдельными кусками, но мне кажется, что в этом жанре вы далеко не столь сильны, как в вашей лирике.

Тарковский густо, гневно побледнел. Я не оговорилась — именно побледнел, а не покраснел:

— Да, безусловно, поэма — это же Семкина епархия! Да я могу такую длинную, какая ему, да и вам вместе с ним, не снилась!

Я испуганно сдержала смех, при чем тут длина поэмы, я ведь имела в виду иное. Но если бы даже рассмеялась, Тарковский не услышал бы, — ушел от меня, громко хлопнув дверью. Но не поссорился. Однако “инцидент”, может быть, явился малой жилкой в огромном камне преткновения, из-за которого Тарковский заглянул на минуточку поздравить меня с днем рождения, а на другой день, 25 июня, к себе не пригласил.

Если же вернуться к ревности, то надо вернуться на угол Серафимовича, противоположный тому, где мы сидели на бревнах сосны, распиленной, но посмертно выдыхающей запах

смолы в одурманенный сиренью день. На этом углу в 1985-м мы с Семеном Израилевичем ловили машину, возвращаясь со дня рождения Корнея Ивановича. Остановилась “Волга”, и послышался голос Тарковского:

— Семочка, идите к нам, довезем.

(Они с Татьяной также были у Чуковских). По дороге Арсений Александрович надписал “Стихи разных лет”: “Дорогим Инне и Семе с любовью — давней и преданностью” и попросил наши, вышедшие за рубежом. Когда в мае того же года я привезла книжки Тарковскому в Переделкино, то мои “Дожди и зеркала” он, приличия ради, бегло перелистал, а в липкинский “Кочевой огонь” так и вгрызся глазами, ел и ел, забыв напрочь о вежливости, о том, что я битый час молча сижу в их с Татьяной, кажется, общем тогда двухместном угловом номере на первом этаже. Ревниво читал, сопернически.

Совсем недавно в “Литературке” появилась публикация писем Тарковского с фронта второй жене Антонине, — я узнала, — он еще во время войны мечтал о крупном полотне — о большой поэме.

Но так ведь и бывает с поэтами, мечтают о том, что им менее всего присуще: лирики об эпике (Тарковский же и в своей лирике — эпик), эпики — о лирике, неулыбчивые в стихах — об ироничности, склонные к символизму — о предметности, предметники (так я называю про себя “постакмеистов”) — о воздухе между предметами.

# *На городской квартире*

*Если правду сказать,*
*я по крови — домашний*
*сверчок…*

Тарковские выезжали в город редко и ненадолго. Как правило, возвращались в Переделкино в тот же день к ужину. Раза три или четыре Арсений Александрович приглашал меня отправиться вместе с ними в Москву, к моей радости и к явному неудовольствию Татьяны. Но это я потом поняла, насколько ей неприятно мое общество. Она уже часто разговаривала со мной недружелюбно, резко. Но ведь и с собственным мужем не церемонилась. Я это объясняла не только ее характером, но и переутомлением — трудилась, как я уже говорила, с утра до вечера. Да и в поездки по окрестным магазинчикам, которые так любил Тарковский и называл “прогулками”, Татьяна брала меня без раздражительности. Иногда она прихватывала на “прогулки” и еще кого-нибудь. Но речь о прогулках в Татьяниной “Волге” по подмосковным магазинам пойдет позже.

А пока я мысленно нахожусь в московской квартире поэта, что на Садовом кольце, рядом с метро “Маяковская”. Я так удивляюсь огромной фонотеке, телескопу и книжным полкам, не купленным, не полированным, а сделанным из светлых досок, что совершенно не замечаю, какова кухня, ванная и обстановка в их двухкомнатной квартире, хотя мебельная тема тогда не волновать меня не могла. Приятно поражает и порядок — ничего общего с тем хаосом, царившим в переделкинском пенале Тарковского. Когда Тарковские стали жить в доме творчества на первом этаже, хаоса я уже не замечала, то ли привыкла, то ли он исчез вместе с подзорной трубой.

В то первое посещение городской квартиры Тарковских Татьяна собирается в Гослит, возможно, уже переименованный в Худлит, и мы остаемся вдвоем. Тарковский быстро понимает причину моей некоторой застылости:

— Не удивляйтесь, Инна, здесь у меня — все на месте, я очень люблю свой дом, свои книги и пластинки, ванную. Ненавижу дома творчества и дачу. Но Тане, особенно в Переделкине, лучше работается, и я не вправе с этим не считаться. И вот бросаю все свое родное. Ничего не попишешь.

— Арсений Александрович, да неужели? Вы так любите природу, птиц, белочек, собак наших приблудных. Наконец, вы

так много смеетесь.

— Инна, я только с вами такой смешливый, — галантничает он, но добавляет: я — не вы. Вы свою “лишнюю жизнь” нараспашку держите, а я свою наряжаю в смех. А так — тоска одна. Верно, в домотворческой библиотеке выбрать кое-что из книг можно. А вот пластинки… Больше всего на свете я нуждаюсь в музыке. Давайте Баха поставим, а я чайку заварю. Вы кофе уже пили утром, да и нет его у нас.

Арсений Александрович, как только мы приехали в город, снял протез, — дома имелись запасные костыли. Он и в Переделкине часто на костылях ходил, жаловался, что протез натирает ногу. Остаток ноги культей никогда не называл. На костылях, было заметно, ему и легче и ловчей. Вероятно, и это — одна из причин, которую не назвал Арсений Александрович, говоря о своей ненависти к домам творчества. Но нет, в Голицыне он же мог пользоваться костылями — отдельная дача.

Арсений Александрович быстро подходит к шкафу-фонотеке, почти не глядя вытаскивает из узкой ячейки пластинку, откидывает крышку отличного проигрывателя, стереофонического. И забывает про чай.

— Прелюдия и фуга фа минор, — вдруг вырвалось у меня откуда-то из подкорки..

Тарковский приподнимает свои высокие брови и целует мне руку:

— Узнали!

Я уже раскрываю рот, чтобы сказать, что многие мои родственники музыкантами были, младший брат Евгений — композитор и пианист, но что уже век консерваторию не посещала. В конце шестидесятых Рихтера слушала — 4-ю и 32-ю сонаты Бетховена, — как он играл, словно не на клавишном, а на струнном инструменте, без малейшей доли паузы меж… Да так и застыла с полуоткрытым ртом. Такого лица у Тарковского я никогда не видела. Оно было ни серьезным и ни улыбчивым, ни капризным и ни участливым, ни старым и ни молодым. Даже подвижным не было, а — блаженно-счастливым, красивым до невероятности — сама истина в ничем не замутненном виде. Игла останавливается. Я думаю, что Тарковский еще какое-то время так и будет сидеть, блаженно-отрешенный. Но нет: лицо его обретает обычную, быстроизменчивую подвижность, и он вдруг говорит:

— Нет у Анны Андреевны музыкального слуха. Она прикидывалась любящей музыку. Вот и в стихах ее, особенно в “Поэме”, и Шопен, и чакона Баха, и даже Шостакович. Верно, считала, что поэту полагается любить музыку, в гостях всегда

просила что-нибудь поставить из классической. И у Пушкина не было музыкального слуха, но он и не притворялся меломаном, однако “Моцарта и Сальери” написал, да еще как! Сальери — музыкант отменный, но Пушкин вне зависимости от сомнительного факта дал нам два наивернейших типа в искусстве.

Об Ахматовой Тарковский вспоминал беспрестанно, и по поводу, и без. То одно расскажет, то другое. Но не буду приводить его “истории” не только потому, что в 72-м, кажется, году я прочла в рукописи 1-й том “Записок” Лидии Чуковской об Ахматовой, и это перекрывало все “бродячие сюжеты”, связанные с Ахматовой, но и потому, что Тарковский имел обыкновение присваивать себе чужие рассказы.

Как-то в Переделкине он взялся пересказывать то, что я давным-давно знала от Липкина:

— Однажды, когда я поднимался к Мандельштаму, услышал его крик вослед спускающемуся по лестнице какому-то посетителю: “А Будду печатали? А Христа печатали?”

Я возмутилась:

— Ведь это было при Семе, а не при вас!

Лицо Тарковского сделалось обиженным, как у ребенка, поверившего в свою ложь и разоблаченного:

— Опять вы заладили: Сема да Сема, — и сделал такое движение рукой, будто сворачивал не разговор, а водопроводный кран. Когда лжет взрослый, то обыкновенно запоминает свою ложь. Тарковский же дней за десять до этого своего невинного плагиата мне же и рассказывал правду:

— Мандельштама я видел всего однажды, в полуподвальной квартире у Рюрика Ивнева. Мы пришли вместе с Кадиком Штейнбергом. Помню, там был и Мариенгоф. Я боготворил Осипа Эмильевича, но и стыдясь, все-таки отважился прочесть свои стихи. Как же он меня раздраконил, вообразил, что я ему подражаю*.

— Почему только однажды? Вы же Мандельштама и в Госиздате видели, никто лучше вас о нем не написал:

“Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт…”

Тарковский мою декламацию пресек:

— Инна, прекратите. Жизнь и стихи далеко не одно и то же. Пора бы вам это усвоить в пользу вашему же сочинительству.

Татьяна возвратилась из Гослита или уже из Худлита

довольно скоро. И дело, видно, оказалось недолгим, и автомобильных пробок, даже в центре Москвы, вроде бы еще не было. Тарковский виновато засуетился:

— Сейчас, сейчас, поставлю чайник и хлеб для бутербродов нарежу. Баха слушали и немного — Шуберта (что правда), Инна попросила Шуберта (а вот это уже не правда, я и Баха не просила).

В большой комнате меня потрясает еще одно: Арсений Александрович собственноручно, оказывается, сделал книжные полки и приладил их к стене, а занимали полки с книгами всю стену слева. Как же он влезал на стремянку? То, что он все умеет руками, чинить электроприборы, серьги, даже к каблучкам босоножек набойки прибивать, я уже знала — звала его народным умельцем. Часто так и обращалась к нему:

— Народный умелец, а не пойти ли нам погулять?

Тарковский радовался “народному умельцу”, словно не перо, а именно руки были главным его призванием. Все же плохо, очень плохо я понимала Тарковского. Почти все, связанное с ним, приносило мне веселье, в том числе и споры, и перебранки, и я — эгоистично не хотела углубляться. Видимо, из-за этого я в ту пору и в его поэзию по-настоящему не вникла. Помню, сделала глупое замечание, когда он мне прочитал “Отнятая у меня, ночами…”:

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный Богом,

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.

— Арсений Александрович, в последнюю строку “На твое

дыханье, руки, платье…” вы ввели три существительных для параллели с “Ангел, олененок, соколенок”? У вас всегда звук — чистейший, а “руки, платье” — сдвиг, и сливается в одно “рукиплатье”. Я так понимаю: дыхание — душа, платье — тело. Так не лучше ли обойтись без рук? Чище звучит: “на твое дыхание и платье”.

— Инна, вы отпетая символистка. Да и лефовка. Это Осип Брик и Асеев придумали теорию в кавычках “сдвиг”. “Руки” мне необходимы. Верно, звуковой сдвиг есть, если не делать интонационной паузы. А Пушкин в “Что в имени тебе моем”*, думаете, не услышал “вымени”? Или, думаете, я не слышу: рукоплатье, если строку читать сплошняком? Но без “рук” — нет, не вижу смысла в этом стихе.

Походя отмечу формальную особенность этого стихотворения. В первой и третьей строфах — enjambement’ы, то есть синтаксические переносы, что нехарактерно для русской поэзии Золотого века да и в самом начале Серебряного, например, у Анненского. Enjambement’ы Тарковского не столь резки, как у Андрея Белого и Цветаевой, против чего и восставал Арсений Александрович в наших беседах об их поэтике. Вся поэтика Тарковского зиждется на осторожном, но и смелом развитии традиционных форм. Новизна его как поэта, на мой взгляд, несомненна. Правда, эта новизна не так разительна, как у Бродского, пришедшего в русскую стихотворную словесность с неслыханной доселе поэтикой и обогатившего традиционную гармонию.

Гораздо позже я поняла, какую роль играют в поэзии Тарковского “руки”. В предыдущей главе я приводила восемь строк из посвященных Цветаевой, где “рабочие руки” Марины, но и о своих руках Тарковский пишет:

> Взглянул я на руки свои
> Внимательно, как на чужие:
> Какие они корневые —
> Из крепкой рабочей семьи.

Безусловно, “из крепкой рабочей семьи” не есть намек перепуганного интеллигента на свое якобы пролетарское происхождение. Этим грешили многие, но не Тарковский. Напротив, он не однажды хвастал, что потомок кумыкского князя, чьей столицей был аул Тарки (я долго думала, что — мифотворчествовал). В ответ я смеялась:

— А я из дворовых девок Фонвизина.

— С чего это вы взяли? — спросил Арсений Александрович,

когда я впервые так отшутилась от его княжества.

— А с того, что Екатерина II даровала Фонвизину деревню Лиснянку.

— Лисню, — поправил меня Тарковский, но я упорствовала на “Лиснянке”, хотя и сегодня не знаю, кто из нас прав, поленилась проверить.

— Тогда откуда у вас такие аристократические руки, да к тому же руки-неумехи?

Определение справедливое, я действительно мало что умею — руками.

Так и хочется процитировать и стихотворение “Руки” целиком и на примере четырех его строф показать основные линии поэзии и эстетики Тарковского. Когда-нибудь я это сделаю, но не сейчас. Сейчас я только хочу сказать, что “руки” в произведениях Тарковского несут разные и многие смысловые и образные нагрузки.

“Взглянул я на руки свои / Внимательно, как на чужие” — строки, может быть, наиболее точно характеризующие Тарковского как “народного умельца” и мастера стиха. Когда он ремесленничал, даже когда ногти обтачивал пилочкой, глубже делались глаза и морщины, а высокие летящие брови опускались. Это, говоря его строкой, была “темнота, окрыленная светом”. Таким я его увидела за работой — вправлял в мельхиор выпавший из моего перстня аметист и смотрел на руки свои и на дело рук своих, как на чужое, придирчиво, поминая вслух Баратынского: “Дарование есть поручение, нужно исполнить его во что бы то ни стало”. Так, я думаю, он и стихи сочинял, тщательно обтачивая каждое слово, чтобы служило и звуком сверкало, и умел, я думаю, посмотреть на каждое — как на чужое, со стороны. А это удается лишь истинным творцам. Судьба, а значит, и время мчалось за ним, а не перед ним, “как сумасшедший с бритвою в руке” (“Первые свидания”). Не потому ли в одном из его стихотворений есть строка: “Мой суд нетерпеливый над собою”? Он спешил дела души и рук своих осудить или оправдать раньше, чем это сделает грядущее.

Боже мой, как же цепляется в памяти одно за другое. Вот вспомнилось мне “Отнятая у меня, ночами…”, и захотелось сказать еще об одной черте характера Тарковского, о черте благородной, отличающей его от многих моих знакомцев-друзей-поэтов: никогда не рассказывал о своей “лишней” жизни, не называл ни одного женского имени. И только в общем разговоре о Туркмении, перед тем как прочесть мне вышепроцитированное стихотворение, по какому-то дальнему намеку я догадалась, что в Туркмении он был влюблен, но Татьяна узнала, приехала и увезла

в Москву. В этих стихах, датированных 1960–1963 годами, он, как мне сдается, вспоминает именно ту свою влюбленность. В “любовной” лирике Тарковского я не нахожу адресата, как зачастую в стихах Ахматовой. Но одна строфа из стихотворения, о котором снова веду речь, где география и история переиначены, утверждает меня в моем предположении, что оно адресовано в Туркмению:

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

Впрочем, возможно, я и ошибаюсь, что это стихотворение одноадресно. Тарковский очень туманно, какими-то непередаваемыми намеками давал понять, что все, что он писал о любви, кому бы эти стихи ни посвящал, они так или иначе содержат в себе эхо его первой любви.

Первый приезд на городскую квартиру Тарковского мне четко запомнился, остальные то ли слились с первым, то ли позабылись.

# *Прогулки*

*И страшно умереть и жаль оставить*
*Всю шушеру пленительную эту…*

В одно смешались в моей памяти и довольно регулярные “прогулки” по подмосковным магазинчикам в тогда еще почти деревенских Солнцеве и Вострякове и в противоположном направлении — в районе Одинцова и Рублева. Арсений Александрович обожал эти “прогулки”, хоть и приходилось надевать ненавистный протез. Мы выезжали после завтрака и возвращались к обеду. Но порой позволяли себе роскошь: после магазинчиков обедали в “Русской избе”. Это редкое в те годы ресторанное строение — огромная изба, стены которой и снаружи и изнутри собраны из широченных круглых бревен, пахли живым деревом. Их стойкий лесной дух не забивался даже горячими запахами кухни. “Русская изба” стояла меж сосен чуть в глубине от шоссе, какого — не помню, — Минского, Можайского или Рублевского. Тарковский налегал на мясо в горшочке с грибным соусом или лакомился осетриной на рожне. Пил мало — одну-две рюмочки коньяку. Домотворческую пищу, кроме студня с горчицей и блинчиков с мясом, — терпеть не мог.

— Что ни возьми, все на машинном масле поджарено, даже суп, — беззлобно-покорно нет-нет да и повторял он за столом. Но никогда не делал замечаний ни подавальщицам, ни кому бы то ни было из обслуги. Я вообще заметила: в доме творчества чем мельче “художник слова”, тем больше у него претензий к уборщицам, к дежурным при входе и гардеробе, к медсестрам, и особенно к официанткам: и то — не так, и это — не эдак. К малейшему шуму в коридоре такого рода писатели сверхчувствительны: все им мешает творить, кроме собственной несостоятельности. Такие, если что и сотворят, немедленно и подробно друг друга оповещают, просят послушать и т. п. Тарковский в те, уже славные для него годы, к подобным художникам слова относился великодушно: полусерьезно-полушутливо. Однако умел и отбояриваться, держать дистанцию. Даже и представить себе нельзя, чтобы Тарковский мог выйти из комнаты и заявить: я только что написал стихи! У стороннего наблюдателя создавалось такое впечатление, что этот пожилой обворожительный человек бьет баклуши, ничего не пишет, играет в нарды или в шахматы, кормит птиц и собак, разъезжает раз в неделю по магазинам, говорит с обитателями дома творчества о

всякой ерунде. Этим Тарковский, пожалуй, и сохранял дистанцию. Я, дружа с ним, ни разу не слышала, где, когда и какое стихотворение им написано. Просто вдруг приглашал:

— У меня кое-что накопилось.

Так я услышала от него в 74–75-м годах “Мартовский снег”, “И это снилось мне, и это снится мне”, “Я тень из тех теней”, “С безымянного пальца кольцо”… Последнее, что я слышала из его уст в 76-м, на излете нашей дружбы: “Жили-были”, стихи о Сковороде, “Феофан Грек” и “Пушкинские эпиграфы” — цикл из четырех стихотворений. О последних трех я, помнится, отозвалась подробно-восторженно, а по поводу первого — развела руками:

— А что в них плохого?

— Ничего в них плохого нет, — без улыбки ответил Тарковский, как будто забыв уже привычный для нас жест неприятия, — но, верно, и хорошего мало, экая важность!

“Экая важность” могла относиться и к самому стихотворению и ко мне — слушательнице в равной мере. Теперь я понимаю, почему я про чудные стихи сказала: а что в них плохого? Они написаны четырехстопным хореем, от которого я тогда пыталась избавиться.

Что же так привлекало Тарковского в подмосковных магазинчиках? В первую очередь отсутствие очереди. В московских магазинах народ не толпился разве что перед пустыми прилавками. В подмосковных, особенно неподалеку от Барвихи, где находились “высокопоставленные” дачи, можно было найти редкие, импортные товары: обувь, плащи, белье, шерстяные кофты, джемпера, брючные костюмы, даже голландские пледы. А в хозяйственном магазине или отделе — всякую дефицитную кухонную утварь, моющие средства и разного рода щеточки: для чистки зубов, ванной, мойки посуды — всего не перечесть! Чего только не встречалось! Тарковский по дороге в магазины, еще сидя в машине, постоянно и привычно возмущался:

— Как умудрился умница Ходасевич написать такую глупость:

> “И Революции не надо!
> Ее рассеянная рать
> Одной венчается наградой,
> Одной свободой — торговать”.

Не знаю, нужна или не нужна была революция, а вот что она искоренила торговлю, это уж верно. Исчез и намек на свободу

торговать, правильней звучало бы: “Одной венчается наградой, / Одной свободой — воровать”.

В магазинах Тарковский был неподражаем, цепко выхватывал взглядом как необходимые, так и ненужные предметы, если они — красивы. Подолгу разглядывал каждую вещь, то — практически, то — мечтательно. Входя в торговое помещение, он неизменно ехидничал:

— Сначала, естественно, мы поищем тапочки для вашего падишаха, а потом приглядим что-нибудь и для себя.

Я и в самом деле искала всегда для Семена Израилевича легкую обувь, помнила размер и высокий подъем. Татьяна сразу же устремлялась в отдел тканей и готового платья (были и совсем крохотные магазинчики, где все — перед тобой, вперемешку). Мы с Тарковским первым делом направлялись к прилавку с обувью. Арсений Александрович и себе подыскивал легкую, удобную обувку, здесь он бывал чрезвычайно разборчив и капризен, это и понятно. В хозяйственном отделе, тем более в специальном хозяйственном магазине, Тарковский особенно воодушевлялся. Покупал себе различные инструменты: сверла, пилки для резьбы по дереву, всяческие гвозди, шурупы и петли, даже маникюрные наборы. Один из них в твердо-клеенчатом бордовом футляре до сих пор у меня. Мы радостно делали друг другу мелкие подарки. Например, мне — кофейные чашки, а я — заварной чайник. Чайники для заварки Арсений Александрович любил разных величин, фасонов и расцветок. По его совету я приобретала то кастрюльку, то сковороду и прочее для своего будущего быта. Сохранились только неглубокие китайские тарелочки, присоветованные Тарковским.

Своих подарков я не помню, разве что один. Арсению Александровичу понравилась как-то высокая, похожая на вазочку в виде трапеции, синяя чайная чашка. Я купила две — для него и для Тани. Подарок запомнился потому, что Тарковский мне сердито сказал:

— С какой стати вы Тане чашку купили, она же вам ничего не дарит.

— То есть как — ничего, — удивилась я и стала перечислять.

— А вот так, это я вам дарю, а не Таня. Знаете поговорку “Дружба — дружбой, а табачок — врозь”? Верно, бывает и такое: жизнь — жизнью, а денежка — врозь. Ничего не попишешь.

Сказал и, недовольный мной, а скорее всего — нечаянно вырвавшимся признанием, угрюмо захромал к “Волге”.

Возвращались мы не слишком-то обремененные коробками и свертками. Тарковский, по-моему, этим прогулкам радовался как факту — мол, торговля иногда и кое-где у нас все-таки

существует.

Однажды в одинцовском промтоварном мы и очередь выстояли. “Давали” наиредчайший тонкий, как батист, английский ситец в нежно-голубой цветочек. Татьяна захотела “достать” его на блузку и ночнушки, а Тарковский мне порекомендовал взять ситцу на занавески, побольше — метров двенадцать, а в одни руки “давали” максимум по шесть. Так что в очереди с час мы промаялись втроем.

Чтобы не случился обычный в очередях скандал, Таня закрепила свою очередь меж мною и Тарковским, а сама отошла к “готовому платью”.

— Ах, Инна, какие занавесочки у вас будут — пальчики оближете, — приговаривал Тарковский, видя, как я томлюсь.

Вернулись мы к середине обеда, усталые, но гордые. После послеобеденного, уже обязательного для Тарковского отдыха он поднялся ко мне. На нем была его любимая байковая в крупную клетку рубаха (еще начало апреля), а в руках — портняжьи ножницы.

— Удалось поспать народному умельцу? — оторвалась я от подстрочников и уставилась на огромные ножницы.

— Взял у Лидочки, у гардеробщицы. Где ваш рулон? Сейчас разрежу на занавески. А подошьет пусть Кларочка.

(Клара Лозовская — многолетний секретарь Корнея Чуковского, а после его смерти — экскурсовод по его даче-музею, мой близкий и верный друг).

— Но к чему спешить? Когда еще дом выстроится, да и откуда мне знать размеры окон?

— Инна, я не только народный умелец, но и народный мудрец. Мы же осмотрели снаружи ваш долгострой “Драматург”, у меня глаз-алмаз, запомнил, какие окна, да и легкие занавески следует делать с запасом, чтобы в сборочку. И учтите, — добавил Тарковский, хитро сужая глаза, — я не только народный мудрец, но и народный хитрец: нарежу ситец, и вы его уже никому, нарезанный, не отдадите. А то все пораздарили, да и передарили. Где кофейные чашки, которые я вам презентовал? Передарили, а надо было мне у чашек слегка пообломать ручки. Теперь-то я ваш ситец разрежу, теперь-то меня не обхитрите, я вас уже хорошо изучил.

При этом он не преминул вспомнить, как щедра Ахматова. Но насчет того, что меня изучил, — ошибка. Я все же умудрилась раздарить английский ситчик то ли на занавески, то ли на ночные сорочки. Да и сам Тарковский многое, как мне кажется, раздаривал, кроме пластинок и альбомов по искусству, даже — книги, судя по отданному мне томику Баратынского с его

пометками, сделанными резко наклонным вправо почерком. Да и передаривал в том числе и мои подарки.

# *Зеркало и стекло*

*Как я хочу вдохнуть в стихотворенье*
*Весь этот мир, меняющий обличье…*

В 74-м году, поздней осенью или в начале зимы, Тарковский зашел ко мне после полдника послушать то, что я написала летом. Он застал меня за переводами Габриэлы Мистраль, чилийской поэтессы, лауреата Нобелевской премии.

— На что вам это надо, Инна? Неужели в деньгах и сейчас нуждаетесь?

— Да нет, но мне впервые интересно переводить. Я ведь на подстрочники всегда бросалась, как на врага, которого необходимо одолеть…

Тарковский продолжил:

— Но так, чтобы он в живых остался и хорошо выглядел.

— Вы хорошо досказали за меня!

— Ах, Инна, со мной творилось то же самое, нет — хуже. Вот вы, едва отпереводите, как беретесь за свое.

— Ну, не совсем так, Арсений Александрович.

— И все же. А я, бывало, и перед переводами, и после них в депрессию впадал…

Замечу, что это был единственный раз, когда Тарковский взвешивал — кому тяжелей, хуже. У него в течение нашей домотворческой дружбы, по крайней мере при мне никогда не возникало счета, “кому на Руси жить хуже”, хотя он, как мало кто другой из литераторов, мог бы этот счет вести. Такой счет ведется в литературной среде и между удачливыми, и меж неудачниками (да и вообще это свойственно нашему народу). К такому сорту суетящихся Тарковский, мыслящий не по-советски и будучи отдельным, само собой разумеется, не принадлежал.

Не сразу я взялась за чтение своего летнего “подводного” цикла. После мимолетного взвешивания — кому тяжелее и хуже — я подняла “весы” на более высокий, достойный Тарковского уровень, полуспросив-полуответив:

— Если Липкина так долго не печатали из-за ярко выраженной религиозности, по-моему, а по-вашему — из-за того, что он пишет политические стихи и поэмы, то вас за что же отвергали, исключительно из-за стилистики?

Тарковский, глядя в небольшое зеркало на подоконнике, прислоненное к сумеречному стеклу, отозвался сразу и горячо:

— Вот именно, вот именно, хотя термин, верно, нуждается в уточнении, — все печаталось конвейерно, нужна была штампованная усредненность, никакой языковой индивидуальности, никакой ахматовской “старомодности”. Бедная Анна Андреевна ради сына пишет и публикует стихи о Сталине, — и, немного помолчав, — и я, бедный, сделал такую грешную попытку, слава богу, пронесла нелегкая. Написал стихи о Сталине, отнес в “Знамя”. Не прощу себе. Одно дело, когда за сына стараешься. А я для себя. Чтоб печатать начали. Но и эти стихи — отвергли. Что-что, а нюх у них, Инна, даже не собачий — волчий нюх. Отвергли, словарь не тот, чересчур изысканно, мастеровито. Не задушевно.

— Забудьте об этих стихах, Арсений Александрович, не напечатали — и слава богу.

Не по лицу, по изменившейся манере говорить, не ровно, а обрывисто, я поняла, как мучился он из-за “сталинских” стихов, и пыталась его утешить и вернуть в текущий момент — вон, рядом с вами на столе “День поэзии”, кроме нескольких имен — все на одно лицо. И сейчас требуется штампованная посредственность.

Я уже знала способность Тарковского к быстрому повороту разговорного русла. Так и получилось. Тарковский весело отвернулся от зеркала:

— Верно, этот альманах читать скучнее, чем телефонный справочник в провинциальном городе, в справочнике за фамилиями чьи-то судьбы, тайна… Кстати, совершенство и молодые не жалуют. Меня за совершенство мальчик из Рыбинска ругал в традиционной форме, фамилию запамятовал, но с моей рифмуется. А вот две строки помню: “В порочном кругу совершенства / Поэзия ваша живет”. Каково, а? Даже такой, верно, небесталанный и культурный мальчик посчитал, что совершенство порочно! Им подавай расхристанность. Небось, сидит в телефонном справочнике Рыбинска и подражает Евтушенке и Вознесенскому, а может, уже и Бродскому…

Я запомнила эти строчки. Арсений Александрович иногда повторял их, одобряя что-нибудь мое. Повторил он их, помню, и говоря о третьем лице — о поэте Владимире Соколове, чью лирику благожелательно определил как тонкую акварель.

Только начав письменно воспоминать Тарковского, я догадалась и решила проверить. Позвонила Кублановскому:

— Юра, ты когда-нибудь читал Тарковскому свои стихи?

— Нет, никогда. Лишь однажды отправил из Рыбинска посвященное ему стихотворение.

— Ты его помнишь?

— Помню, — и прочел мне по телефону. Догадка моя

подтвердилась, и я попросила продиктовать:

И зодчество любит порядок,
и скрипка — натруженность плеч,
а все же искусство — припадок,
нечленораздельная речь.
Желая доставить блаженство,
вы нас заманили под гнет,
в порочном кругу совершенства
поэзия ваша живет.

Я рада тому, что, несмотря на раздражение, Арсений Александрович заметил “небесталанность” и “культурность” пятнадцатилетнего Кублановского, и тому, что Кублановский не впал в нечленораздельную речь. И тому — что уже в свои зрелые годы он в предисловии к посмертной книге Тарковского “Благословенный свет” пишет в первом же абзаце: “Дарование есть поручение, нужно исполнить его во что бы то ни стало”, — говорил Баратынский. И жизнь и судьба лучших русских поэтов и Тарковского в их числе — благородно подчинены выполнению этого поручения”.

Можно подумать, что Кублановский подслушал именно эту формулу Баратынского, которую Арсений Александрович повторял, не только говоря о поэзии, но даже, как я уже рассказала, при собственном рукомесле.

Поэты часто отталкиваются друг от друга. И не одни третьестепенные от первостепенных, что попахивает эпигонством, но, что чаще встречается, как это ни парадоксально: первостепенные от нижестепенных. Это подтверждает история одного из лучших стихотворений Тарковского, история, связанная с моими стихами, которые я приведу сейчас, а стихи Тарковского, видимо, в конце главы.

Чтение мое, ради которого в те сумерки и пришел Арсений Александрович, все-таки состоялось. Я прочитала шесть из девяти из упомянутого мной “Подводного” цикла. На четыре — он развел руками: “А что в них плохого?”, два — похвалил. Но речь пойдет об одном:

Тот — не по сердцу, тот — не по уму,
В забвенье этот канул, как во тьму,
Лишь поняла, что верила жестоко.
Впервые — никого, и потому
Впервые в жизни я не одинока.

Брожу по дну, похожему на сад,
Из водорослей я вяжу наряд,
И свод волнистый подпирают плечи, —
На них тычинки в лилиях горят,
Как в кружках на столе горели свечи.

О чем молиться бабушка могла,
Зачем крестилась, глядя в зеркала,
Как будто в них бесовка отражалась?
В сырую землю бабушка ушла,
А я навек с землею распрощалась.

В воде просторней, чем в земле сырой, —
Две лилии мерцают над водой,
Мне весело их подпирать плечами
И празднично существовать одной
Подводными зеркальными ночами.

— Чудесное, — сказал Тарковский, — и эти лилии, как кружки, и эти тычинки, как свечки, меня даже не коробит сочетание “верила жестоко” и “зеркала”, хотя бабушка, верно, смотрелась в одно зеркало. А все равно хорошо. Инна, вы почему-то зачастую смотритесь извне в себя, в зеркало, а я, наоборот, из себя — в стекло, — и, немного помедлив, прочел:

Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

— Такое впечатление, — продолжил Тарковский, — что из этой рамы Ходасевича вы сейчас и вышли, и одиночество — талантливо, без нытья, и правду в своих стихах говорите, и Вергилия у вас за плечами нет. Но одиночество! Вам не одиноко потому, что вы — одна! Верно, нет более гнетущего одиночества, чем одиночество, разделяемое с кем-нибудь. (В жизни Арсений Александрович одиночества не выносил, почти так же, как Тютчев).

— Одно из лучших ваших бытово-эпических стихотворений “Дни” также из Ходасевича произросло.

— И ваше, где вы — “вниз головою, в пространство мировое, шаровое”, — собралась я ответить, но увидела, как замолчал

Тарковский. Надолго замолчал. Не так, как на городской квартире, иначе. Бывает такое сосредоточенное молчание, какое, чувствуешь, ни в коем случае прерывать нельзя. Тарковский, во время моего чтения пересев из кресла на письменный стол, молчал, уставясь уже в зеркало над раковиной, смотрел он так, словно прожигал его взглядом, соскребывал амальгаму и превращал в стекло (кстати, в жизни он гораздо чаще смотрелся в зеркало, чем я, а я гораздо чаще — в оконное стекло). При свете настольной лампы мне четко виден был только профиль Тарковского. И вдруг он легко почти спрыгнул со стола и посмотрел на меня сияющим, по-мальчишески озорным взглядом:

— Инна, Инна, я возьму у вас начало стихотворения, его интонацию и напишу не о зеркале, а о стекле! Обязательно напишу, я его уже представляю себе. Вашему — мое не причинит вреда, оно будет совсем другим, противоположным. Но нельзя — наперед, не то — сглажу. Спасибо! Я напишу гениальное на моем уровне.

Тут надо объяснить, откуда взялось это “гениальное на моем уровне”. Как-то, задолго до дружбы с Тарковским, около одиннадцати вечера в мою комнату заглянул один домотворчевец. Я уже была в постели, курила последнюю сигарету. Он смутился:

— Простите, вы уже спать улеглись.

— Ничего, ничего, вы, я вижу, тоже с сигаретой, выкурим и пожелаем друг другу спокойной ночи. Садитесь.

Он сел и выпалил:

— Хочу вам прочесть свое гениальное стихотворение.

Но увидев, что я смотрю на него, вытаращив глаза, сконфуженно улыбнулся:

— Ну, понимаете, гениальное — на моем уровне.

Стихи, как и сам стихотворец, оказались посредственными, но я никогда его не называю — человек хороший и простодушный.

Как многие свои устные “смешнушки”, я завела Тарковскому и эту. Он хохотал и любопытничал, как никто. Но я дразнила:

— Угадаете — скажу.

Но он не угадал. А “гениальное на моем уровне” у нас с Тарковским забытовало. Я то и дело пишу “мы с Тарковским”, словно бы никого вокруг него, кроме Татьяны и меня, не было. Но так уже получилось, Тарковский меня ни с кем не соединял, общался — отдельно. Правда, вместе с Кавериным, бывало, сиживали, и к чете Славиных (они получили прямо на территории дома творчества двухкомнатное дачное помещение — часть дачи покойного Сельвинского) ходили чай пить, слушать стихи

Арсения Александровича. Лев Исаевич и Софья Наумовна Славины были его большими почитателями и друзьями. Я ни разу не видела у Тарковского неоднократно им хвалимую Ларису Миллер. Дважды столкнулась с юным тогда Михаилом Синельниковым, и то случайно, у входных дверей. И дважды Тарковский в дверях же мне его представил. Короче, с кругом своих молодых друзей Тарковский меня не знакомил. Я и не ведала, что этот круг существует — и немалый. Почему не знакомил — не знаю. Может быть, причина в моем характере? Я ведь и сама люблю не компанейское общение, а отдельное. Но не хочу ни предполагать, ни фантазировать. Помнится, в начале осени того же 74-го мы с Липкиным улетали во Фрунзе (ныне — Бишкек), и перед моим отъездом из Переделкина Тарковский меня попросил:

— Напишите мне письмо, а я вам отвечу.

Я сказала: не умею писать писем, что было правдой. Но помню — очень удивилась. Мне казалось: внешне еще менее организованный, чем я, Тарковский писем вообще не пишет. Теперь, когда я сама не чураюсь эпистолярного жанра и эти воспоминания пишу, в сущности, как письмо, я выяснила, например, сперва из переписки с поэтессой-киевлянкой Евдокией Ольшанской, что у нее есть немало писем от Тарковского, а потом уже — из разных источников и прессы, — что Арсений Александрович письма писал.

В отличие от Липкина Тарковский никогда не разговаривал менторски. Но в те сумерки он не ограничился веселым разведением рук: а что в них плохого? На одно мое шестистрофное стихотворение, где две строфы находились на периферии основного содержания, вдали от главной мысли, — Арсений Александрович по-учительски сердито поднял вверх указательный палец:

— Запомните: стихи надо писать об-од-ном!

И если меня начинает относить потоком сознания или бессознания в сторону от позвоночника стихотворенья, вспоминаю сердитое “Об-од-ном!”. Не по-учительски, а по-бойцовски Арсений Александрович набрасывался на мои корневые или небрежно-неточные рифмы. Неточную рифму он ненавидел так, как можно ненавидеть подлюгу или еще не знаю кого.

Однако мне известен случай, когда Тарковский забыл о своей ненависти к неряшливости в рифмовке, столкнувшись с сильным талантом. Этим талантом оказался Айзенштадт (Вениамин Блаженный). Он, минчанин, разослал свои стихи, переписанные убористым прямым петитным почерком и в немалом объеме,

многим известным поэтам, в том числе Тарковскому. Но лишь Тарковский восторженным письмом откликнулся на оригинальную, обладающую страстной мощью поэзию Айзенштадта и положил начало известности этого поэта в пока еще узком литературном кругу. Письменный отзыв Тарковского способствовал и началу публикаций Айзенштадта-Блаженного.

В самом начале 80-х мы с Тарковским еще были в ссоре. Не от него я узнала о поэте Айзенштадте, а от Елены Макаровой, моей дочери. Она показала мне 50–60 стихотворений Айзенштадта, которые меня также поразили. И я настрочила и отправила с ней Айзенштадту целое послание. Лена поехала в Минск только с одной целью — навестить больного, уже в возрасте, поэта. Пригласила к себе в Химки. Когда Айзенштадт, больной, но обласканный, все же выбрался в Москву, то захотел познакомиться с Липкиным и со мной. Лена привезла его к нам в Переделкино на дачу вдовы профессора-литературоведа Н. Л. Степанова, мы у нее снимали часть дачи. О, как хотелось не на словах, а на деле помочь! Но что мы с Липкиным могли, если в 80-м вышли из союза писателей и были лишены не только права на профессию, но и права жить в доме творчества, пользоваться услугами писательской поликлиники (из Литфонда нас выбросили). Чего-чего, а неточных, неряшливых рифм у Айзенштадта в преизбытке. Липкин, да и я, хваля поэзию Вениамина Михайловича, затронули и эту тему.

Он пожал плечами:

— И Арсений Александрович об этом говорил. Но я не умею править стихи, да и в рифме ли дело?

Но вернусь к “зеркалу и стеклу”. Тарковский мне и при мне не читал именно то стихотворение в 75-м году, которое замыслил, выслушав в 74-м мое “зеркало”. Не ведаю, в начале зимы или позже написано это изумительное стихотворение, как я его про себя называю, “Стекло”, сквозь которое видны вся наша жизнь и смерть, все наше время и безвременье, без каких-либо преходящих календарных указателей. Все же указание на точное время XX века, а в частности русское — есть. Тарковский принес журнал, а скорее всего, альманах “День поэзии”, где над “Стеклом” написал: “Инна, спасибо. Этим стихотворением я обязан Вам”. Где тот журнал, а скорее всего, где тот альманах?

Но вот это чудо:

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.

Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла.

Поверх земли мятутся тени
Сошедших в землю поколений;
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,
Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть откуда.

Надо ли показывать интонационное сходство двух первых строк этого совершеннейшего стихотворения с двумя первыми стихами моего “Зеркала”. Нечего и рассуждать о преимуществах “Стекла” перед “Зеркалом”. Но я не в силах скрыть счастья от сознания, что своими стихами подвигла Тарковского на такое огромное по охвату обозримого и необозримого русского времени стихотворение. Оно настолько идеально, что я и не сразу заметила, что это сонет.

— Арсений Александрович, — ловлю я себя на том, что в эту минуту обращаюсь к нему не мысленно, а вслух, словно он рядом, — хочу вам сказать: может, вы и оттолкнулись от моего “Зеркала”, но в те сумерки и вы ошиблись и меня позже ввели в заблуждение. Интонация первых строк ваша, я тут ни при чем. Вы давным-давно написали:

И я умру, и тот поэт умрет.

# *Мы видели лося*

*Терзай меня — не изменюсь в лице.*

Помимо бесчисленных шахматных партий весной 75-го года, в начале мая у нас появилось еще одно совместное занятие: мы с Тарковским читали вслух “Чевенгур” Платонова. Уже зимой моя дочь снабжала нас “тамиздатом” или, как теперь говорят, текстами “из-за бугра”. Май стоял на редкость теплый и сухой.

На территории дома творчества еще не было комфортабельного корпуса с однокомнатными квартирного типа номерами. Напротив коттеджа, что нынче смотрит на ярко-кирпичное трехэтажное здание, прозванное “обкомом”, зеленела довольно большая квадратная полянка с, кажется, теннисной сеткой посередине. В теннис же тогда никто и не играл. Изредка, по субботам и воскресеньям, писательские дети использовали корт как волейбольную площадку. Вправо от этого коттеджа и полянки тянулись узкие аллеи с вишневыми деревцами и совсем юными яблоньками. Меж ними и оградой, отделяющей территорию дома творчества от улицы Серафимовича, шла тропа, ровно очерченная кустарником шиповника и кое-где возвышающимся жасмином. Такая же кустарниковая полоса существовала и слева от корта, почти перед самым забором, отделяющим дом творчества от дачи (тогда, кажется, писателя Лидина). Так вот, между забором и двумя кустами жасмина в землю был вбит продолговатый стол и скамейка с двухдосочной спинкой, на скамью падала тень уже лидинской березы.

Это место мы и облюбовали для чтения “Чевенгура”. Чтение продвигалось по-черепашьи, ибо мы почти над каждой фразой заливались смехом. На самом деле “Чевенгур” — вещь трагическая, но написана так, что не смеяться, особенно если читаешь друг другу вслух, просто невозможно. Хохотали до слез над запутавшимся в вожжах военного коммунизма простосердечным Копенкиным и его рыцарством по отношению к Розе Люксембург. Когда наступал черед Тарковского, ему приходилось то и дело протирать запотевавшие от смеха очки. Платок всегда был безупречно чист, все мелкое, да и рубашки Тарковский стирал сам. Мы обосновывались за столом на скамейке часов в одиннадцать дня и оставались в своей укромной, на свежем воздухе, читальне почти до самого обеда.

В один из полдней, когда читала я, Тарковский вдруг воскликнул шепотом:

— Тише, лось!

Я подняла голову: шагах в пятнадцати от нас на короткой травке действительно стоял светло-желтый, видимо, совсем молодой лось и смотрел в нашу сторону. Длилось это буквально мгновенье, а может быть, секунд 15–20. Лось отвернулся от нас, понесся, и скорее перелетел, чем перепрыгнул под прямым углом ограду на улицу. Какие-то еще секунды мы, ошеломленные, помолчали. Тарковский заговорил первым:

— Мы видели лося! Мы видели лося! А вам, как назло, надо сегодня, да уже прямо сейчас, ехать к Семе, — Тарковский заметил, что я озабоченно взглянула на часы. — Мне же никто не поверит, если вы сейчас уедете, ну кто мне поверит, что мы видели лося? Перезвоните падишаху, останьтесь. Я же вас к нему третьего дня возил. Инна, как же мне быть? Сил нет именно сейчас сажать вас в такси. Кто же мне поверит, что мы видели лося?

Но я поднялась и заторопилась. Большая хозяйственная сумка, куда я бросила сигареты, спички и деньги на дорогу, была при мне. “Чевенгур” же был забыт на столе. Дня за три до этого полдня Тарковский и в самом деле отвозил меня в Москву, он сказал Липкину:

— Семочка, вот тебе твоя Инна из рук в руки, и вот тебе моя книга.

Это тот самый сборник “Стихотворения”, который дважды подарил мне Тарковский зимой. Судя по дате под надписью “Дорогому Семе с давней воскресшей дружбой и пожеланием счастья А.Т.”, отвозил меня А.Т. 11 мая. Значит, спешила я в Москву, и очень спешила, числа 15-го.

Тарковский понуро вышел со мной на улицу ловить такси, безнадежно приговаривая:

— Мы видели лося, но кто мне поверит без вас? Никто не поверит.

Тут наконец, не вдаваясь в подробности, я должна объяснить, почему такси, а не электричка, почему я пишу: “меня брали с собой”, “меня везли” и т. п. Все, к сожалению, крайне просто: с 34 своих лет не умею пользоваться общественным транспортом и переходить улицы. Чуткий Арсений Александрович, как правило, доводил меня до угла Серафимовича и голосовал. Он обстоятельно наказывал таксисту или, реже, леваку, где меня надо высадить, чтобы мне не пришлось переходить дорогу. Несколько раз Тарковский ездил со мной, видимо, хотя он мне в этом не признавался, повидаться с Липкиным. Каждая передача меня “из рук в руки”, как он шутил, здороваясь с Семеном Израилевичем, происходила возле метро “Динамо”. Тарковский

отпускал такси, и мы, если не холодно, беседовали тут же, в скверике. Вернее, они беседовали. Чаще всего на литературные и политические темы. В эти полчаса или час я себя не чувствовала лишней, но умела отключать слух (чему только не самообучишься, подолгу живя в доме творчества) и отключала. Мне было о чем подумать, — именно литературно-политическая тема и занимала меня, но не теоретически, а практически. Наговорившись, Тарковский на такси же возвращался в Переделкино, а мы с Семеном Израилевичем — на "конспиративную квартиру" к его младшему брату Мише.

В 1974-м мы обсуждали в Мишиной комнате, в коммуналке, как и через кого передать на Запад рукопись Гроссмана "Жизнь и судьба". Роман и хранился у Миши, о чем уже написал сам Липкин. Технику переправки "Жизни и судьбы" разрабатывать в доме творчества мы, естественно, опасались. "Конспиративной квартирой" комнату Миши я назвала не случайно. У нас имелись ключи, и мы приезжали на "конспиративную" тогда, когда математик Михаил Израилевич бывал на службе в ЦСУ. Я уже с зимы 1967-го знала, что роман спрятан у него, но он не должен был знать, что я об этом знаю. Чем не конспирация? Узнал же Миша, что я знаю, как раз в тот день, когда мы с Тарковским видели лося, когда я приехала уже за "Жизнью и судьбой" — передать Войновичу, чтобы роман с его помощью попал за границу.

Естественно, я не посвящала Тарковского в причину моих выездов в город. Естественно и то, что Арсений Александрович удивлялся:

— И чего вам, Инна, без конца шастать в Москву к Семе? Пусть падишах сам к вам ездит и на подольше.

Еще раз хочется сказать о характере нашей с Тарковским дружбы — легкость и очарование общения состояли, главным образом, в отсутствии каких-либо взаимообязательств. Тарковский в те годы уже многим покровительствовал, писал внутренние рецензии, рекомендации и прочая. Узнав, что моя книжка стихов с 69-го года без движения валяется в "Совписе", предложил:

— Инна, а не хотите ли, чтобы я вмешался? Теперь я кое-какой имею вес.

— Отказываюсь наотрез.

Тарковский неполнозвучную рифму "вес — наотрез" принял с откровенно радостным облегчением. Он и без того хлопотал то за одного, то за другого, но хлопоты его явно тяготили. Да и приятно, думаю, ему было сознавать, что моя к нему привязанность — бесцельна. Он к тому времени, как мне кажется,

изрядно устал от “целенаправленных”. Любопытно еще одно: стоило мне с Липкиным куда-нибудь уехать надолго или оставаться в доме творчества “Переделкино” в июле-августе, когда Тарковские жили в Голицыне, как я об Арсении Александровиче забывала напрочь. А если разговор заходил о нем, то исключительно о его стихах. Трудно было даже представить себе, что как только съедемся в Переделкине, снова будем почти неразлучны. Вот такая странность и, как я вскоре узнала, — с обеих сторон.

О лосе и забытом в саду платоновском “Чевенгуре” я вспомнила лишь на обратном пути, незадолго до ужина. Я сразу побежала к “читальне”, но “Чевенгур” исчез. Потом, не поднимаясь к себе, направилась к Тарковскому, а вдруг он прибрал книгу. Уже в начале коридора я услышала возбужденный, почти плачущий голос Арсения Александровича:

— Да, видел, видел я лося, я первым и заметил его. Вот вернется Лиснянская, спросите…

“Неужели, бедный, целые пять часов доказывает, спорит, чуть ли не плачет”, — промелькнуло у меня в голове, и я решила прийти ему на помощь. Беспардонно, без стука, распахнула дверь:

— Арсений Александрович, вы рассказали, как мы видели лося?

— Не верят! — Тарковский полулежал, как всегда, в пижаме. Татьяна и еще какая-то домотворческая знакомая, кто — не помню, — сидели напротив него.

— То есть как не верят? — сочувственно возмутилась я.

— На территории дома творчества, — оборвала мое свидетельское показание Татьяна, — не могло быть лося.

— Верно, ты еще скажешь, что у нас и галлюцинации общие? — уже взорвался Тарковский.

— Да нет, небось сговорились разыграть меня, — снисходительно-прощающе улыбнулась Татьяна, — пусть будет по-вашему: лось был на корте и в теннис играл. — И мне: — Арсений мне перед обедом и всем за столом про лося рассказывал и сейчас, не успела я зайти после работы, заладил про лося. — И ему: — Верю, Арсюша. Пора собираться на ужин. (Значит, не пять часов подряд, слава Богу).

Я заметила, когда Тарковский взрывался, Татьяна старалась все, как говорится, спустить на тормозах. Даже если и не была с ним согласна. Мать всегда знает, в какой момент следует уступить своему ребенку.

# *Часы*

*Плачет птица об одном крыле…*

Как-то ясным майским утром, уже после того, как видели лося и потеряли “Чевенгур”, мы сидели с Тарковским на полукруглой каменной террасе с балюстрадой перед двумя толстенными колоннами и тяжело открывающейся массивной дверью сталинского ампира. Сидели в плетеных креслах, он в узком с высокой спинкой, а я — в ракушке. Арсений Александрович чинил зонтик, из которого повылазили спицы, и:

— Вон, берите пример, — справедливо указывал мне на живые примеры, понимая, что мне солнце вредно, — и Вера Потапова зонтиком прикрывается, и Мима Гребнева с Нелей Бахновой под зонтиками к калитке идут.

Надо сказать, что Тарковский — на редкость участлив, если дело касается здоровья. Он, коли кто занедужит, даже малознакомый, скажем, сосед по номеру или столу, проведывал, давал советы, делился лекарствами. Правда, не заходил к болеющим гриппом или ангиной — боялся заразы.

— Арсений, здравствуйте, я — к вам. — Это приехал из Москвы очеркист и киносценарист Виктор Станиславович Виткович, ровесник Тарковского, хорошего роста, с несколько квадратным бульдожьим лицом и такими же, но всегда смеющимися глазами. Меня с ним познакомил Липкин в Душанбе, в очередной из наших в Таджикистан поездок. При встрече в доме творчества мы с Витковичем вежливо здоровались, но ни я не знала, чем он занимается, ни он, по-моему, — чем я. Виткович был давним другом-почитателем Тарковского. Он дружил и с Кочетковым, берег папку со стихами и поэмами и после смерти Кочеткова делал попытки их напечатать. Тарковский ценил Витковича, в особенности не как знатока поэзии, а как меломана. Основным предметом их общения была музыка. Но обо всем этом я узнала потом.

А тогда Тарковский поднялся поздороваться с Витковичем:

— Как я рад, что приехали! Сейчас дочиню Инне зонтик, одна спица осталась, и уговорим Таню поехать сначала в магазин, а потом — пообедать, есть одно замечательное заведение. Таня вам не откажет, а мне осточертел общепит.

Виткович взглянул на меня своими незабываемо смеющимися глазами и произнес нарочито серьезно:

— Что ж, будете воспоминания писать, как великий поэт вам зонтик чинил.

Вот, получается, и пишу. А ведь огрызнулась на терассе:

— Еще неизвестно, кто и о ком воспоминать будет.

Я-то всего лишь хотела спросить, откуда Витковичу известно, кто кого переживет. Но резанул меня и эпитет “великий”. (Теперь-то я вижу: хоть верна строчка Тарковского “Последним умирает слово”, что у нас существительные и прилагательные если не умирают, то девальвируются прежде и гораздо быстрее рубля). Тарковский понял мою неадекватную реакцию и пришел на выручку:

— Инна, к чему сердиться, по сравнению со мной вы — дитя, вы и должны меня пережить и воспоминать.

“Воспоминать” — его выражение.

Милый, милый Арсений Александрович! Вот я и живу и воспоминаю, воспоминаю как ребенка, и разговариваю с вами вслух: меньше, чем через полгода — наши дни рождения. Мне стукнет столько, сколько исполнилось вам в том июне, тогда, вскоре после “часов” — 68. А ведь вы так серьезно относитесь к дате рождения, даже стихи у вас (напомните мне, кажется, два) озаглавлены: “25 июня”. Превосходные стихи!

Татьяна охотно согласилась, заехав в один одинцовский магазин, отправиться в “Русскую избу”. В тот теплый безоблачный день я и не догадывалась, что это будет последняя с Тарковскими “прогулка” в магазин и последний наш обед в “Русской избе”. В магазине Арсений Александрович приобрел одинаковые часы: одни себе, другие — мне.

— Инне, — как объяснил Тарковский Витковичу тут же, у прилавка, свой дорогостоящий подарок, — ко дню рождения, — а меня предуведомил:

— Будем с вами носить одинаковые часы с календариком. Ничего не попишешь.

До наших дней рождений было впереди еще около месяца. Я для Арсения Александровича подарок припрятала — не помню что, — но терпению не дарить заранее научилась у Тарковского. Он, нетерпеливый, дарил в срок. А тут, видимо, предчувствовал или уже знал, что нашей не обременяющей друг друга дружбе очень скоро будет положен предел.

Эту грозу среди ясного неба предвещало и то, что случилось до покупки часов. К дверям магазинчика вели три почти неступеньки, торцовая их сторона представляла собой одну, но крутую ступень. Я сдуру, вслед за какой-то женщиной и переступила ее. Но для Тарковского ступень оказалась чересчур высокой: он упал навзничь, на спину, слава богу, затылком в траву, а не на прилестничный бетон. Мы с Витковичем бросились поднимать, а жалость Татьяны вспыхнула гневом:

— Инвалид несчастный, старый дурак, так тебе и надо, нечего за здоровыми и молодыми прыгать!

Я чувствовала себя настолько виноватой, что успела осознать только одно: Тарковский цел и невредим. Как сквозь вату услышала высокий голос Витковича:

— Может быть, вернемся в дом творчества?

И как сквозь воду увидела: униженный, гордый Тарковский выпрямился, оперся на палку и перешагнул именно через ту роковую ступень. А уж как он покупал часы, что и кому говорил по этому поводу, я узнала на другой день от Витковича, приехавшего проведать Тарковского. Мне остро запомнились его фразы в передаче Витковича, из-за “ничего не попишешь”. В устах Тарковского — чаще со смехом, реже всерьез — “ничего не попишешь” означало ту или иную безвыходную ситуацию. После обеда Арсений Александрович пошел, как он шутил, “в свою пижаму”, а Витковича на время своего отдыха отправил ко мне, предварительно договорившись:

— Инна, почитайте Виктору Станиславовичу, он толк в стихах знает.

С того дня, а настроение у меня было ужасное, Виткович стал и моим другом, переписывал или перепечатывал для себя все, что ни напишу. Это я вынуждена сказать, ибо невозможно было бы вести дальнейшую мою, может быть, навязчивую, даже местами вздорную тему: отдельный поэт-ребенок.

А в ту нашу последнюю злополучную “прогулку” Тарковский настоял и на обеде в “Русской избе”. Когда он шел из магазина уже под руку с Татьяной к их “Волге”, я заметила, как мелко подрагивают его пальцы и губы. И усевшись в машину рядом с Витковичем, привычно нашарила в сумке упаковку седуксена и протянула таблетку Арсению Александровичу:

— Она безвкусная, прососите — быстрее подействует, вам надо успокоиться, а таблетка — чепуха, иногда я по три в день глотаю.

Он посмотрел на Татьяну, и та кивнула. Но то, что для меня чепуха, на Тарковского подействовало стремительно и странно. Он сразу уснул и всю дорогу до ресторана вздрагивал от дремоты и то и дело, стараясь стряхнуть ее с себя, полусонно вопрошал:

— Инна, чем вы меня отравили, чем отравили?

Дремота не отпускала его и за едой, а что ели — не помню. Боясь за Арсения Александровича, я все думала, в таблетке ли дело? Не есть ли это защитная реакция организма от полученного шока. Даже вспомнила случай: в молодости я вылетела в ледовую разведку с группой гидрологов с Диксона. Летели низко и в тумане чуть не врезались в айсберг, который в критический

момент одновременно заметили крупный с крупными оспинами летчик Старов и начальник экспедиции, худой и высокий — фамилию запамятовала. Старов громко крякнул и перевернул Ли-2 таким образом, что мы все оказались на потолке. Другого шанса у Старова не было. Он пошел на риск и спас. Начальник же экспедиции уснул мгновенно и беспробудно, до самой посадки. Вот такая реакция, хорошо, что — не за штурвалом.

На обратном пути в Переделкино Татьяна подрулила к озерцу, углядев на берегу скамью. Мы с Витковичем уселись на поваленную березу, Татьяна с еще не вполне проснувшимся Тарковским — на скамейку, она не на шутку тревожилась, ласково теребила его плечо:

— Арсюша, утки плавают.

Тарковский при слове “утки” окончательно проснулся:

— Верно, утки плавают.

А у меня все плыло и плыло перед глазами — то ли утки, то ли отражающиеся в воде редкие облака, обведенные рыжей солнечной кисточкой.

На следующее утро завтрак прошел в натянутом, непривычном и для соседей по столу молчании. Часы-двойняшки посверкивали позолотой и циферблатом золотистого цвета, они бесшумно шли себе, как и продолжают идти на моей — левой. У моих — такой безостановочный, но такой слабый бой, что надо прижать плотно к уху, чтобы уловить тиканье. А часы Тарковского…

После завтрака Арсений Александрович ни гулять меня не позвал, ни за шахматы усесться. Май был настолько сух, что даже роса по утрам на траве не блестела. Я вышла из “ампира” в беседку с подстрочниками и блокнотом. Тарковский прямо на траве играл в шахматы с незнакомым мне писателем из Армении. Вскоре я услышала его крик:

— Инна, Инна, часы, часы исчезли!

Я выскочила из беседки. Тарковский со своим новым партнером шарили в траве, к поискам присоединилась и я, но сколько ни ползали и ни шарили — не нашли. Партнер по шахматам был совершенно обескуражен:

— Играли вод здес, на травэ, вод здес, — повторял он, с усиливавшимся от волнения, родным мне армянским акцентом. — Аствац! (Боже мой!).

Но часы как сквозь землю провалились.

Эта мистическая потеря все как бы вернула на круги своя, натянутость исчезла, я всучивала Тарковскому его же подарок: дескать, вот они, часы, берите. Но он не соглашался, не согласилась и Татьяна:

— Инна, не принято возвращать принятое. Арсений Александрович не так воспитан, он — джентльмен.

# *“Нетленка”*

*Столько было сирени в июне,*
*Что сияние мира синело.*

Что за май! Через неделю я получила еще один преждевременный подарок. Моя двадцатилетняя сестра привезла мне магнитофон “Весна”. Тарковский невероятно оживился, увидев магнитофон, а в особенности Ольгу. Он любит красивых. Когда Оля, недолго побыв у меня, но пообедав за нашим столом, собралась уезжать, мы попрощались с ней на террасе и там же закурили.

— Какая красавица, — восхищался Тарковский, глядя во след быстро идущей к воротам Ольге, — высокая, стройная, гибкая, с пшеницей волос по самые лопаточки.

Но едва она исчезла из виду, вспомнил о магнитофоне:

— У меня идея. Давайте сделаем нетленку.

— Нетленку?

— Верно — нетленку, — загадочно-значительно повторил Арсений Александрович и, не дождавшись от меня повторного вопроса, хотя и сделал паузу, продолжил: — У вас, Инна, появился магнитофон. Запишем на две кассеты ваши и мои стихи. С вашими я возьму себе, а с моими — вы у себя оставите. А кассеты ваша сестра-красавица привезла?

— Привезла три штуки. Но я и обращаться-то не умею с магнитофоном. А все же — что за существительное “нетленка”? — я не валяла дурочку, и впрямь с магнитофоном дела не имела и этого существительного сроду не слыхивала.

— Руки ваши, верно, мы уже договорились — нечеловеческой красоты, но дебилы. Да и к чему вам магнитофоном управлять, когда есть народный умелец, — гордо ткнул себя в грудь Тарковский, — а нетленка — не существительное, а глагол, чтобы жечь сердца людей, — Арсений Александрович раздавил окурок о похожую на гибрид ферзя с ладьей каменную балясину в балюстраде, — ну, я пошел в свой пенал и в пижаму.

За полдником Арсений Александрович обратился к Татьяне:

— Пойду Инну записывать на магнитофон, не составишь мне компанию?

— Меня “Унесенные ветром” ждут, а вы, бездельники, начинайте свою новую игру. Ведь вашего Копенкина вместе с его лошадью лось унес, — благодушно отказалась Татьяна.

Тарковский быстро разобрался в пугающей меня технике, установил передо мной пластмассовый, белый, воронкообразный

микрофон:

— Ну что, начнем нетленку?

Я растерялась:

— Арсений Александрович, я еще не решила, что прочитать. И вообще, вы меня своим таинственным глаголом “нетленка” совсем с толку сбили. Все гадаю, что за существительное, которое глагол, и при чем здесь Пушкин?

— Аха, сдаетесь! — победительно рассмеялся Тарковский, — вы, верно, умом не блещете, а нетленка — вот что, — и он указал на один из углов кассеты, — вот эту штучку, когда закончим запись, оторвем, и никто не сможет ни стереть наши голоса, ни записать что-нибудь поверх. Это и станет нетленкой.

Я стала препираться:

— Давайте, сначала — вы, а я — после вас.

— Не пойдет. Во-первых, я свое, как вы, наизусть не помню. Надо из книг прочесть. Верно, лучше из ненапечатанного. Во-вторых, вам Таня на днях правильно сказала, я — джентльмен.

— Но я еще не продумала, что именно читать, — взмолилась я и подняла руки, — сдаюсь полностью, я — тленка, и вы это прекрасно знаете.

— Инна, голубушка, ну зачем так о себе? Про вас говорят — кокетка. Но не похоже. При мне вам процитировал ваш падишах, и уместно, кажется, Вольтера: “Не говорите о себе дурного, за вас это сделают ваши друзья”.

Потом Тарковский это и сделает, а тогда он меня успокоил:

— Начнем с тех, какие мне нравятся и какие хочу иметь. — И перечислил восемь стихотворений. Тут уже странность моего характера. Как бы панически-плохо ни относилась я к собственным стихам, всегда помню, кто и что о них мне сказал, даже помню мельчайшие замечания, сделанные и теми, с чьим мнением вовсе не считаюсь. А уж перечень Тарковского запомнила навсегда. Но приводить его не стану. Воспоминатель вообще-то должен держать себя в тени. У меня это не получается, так как поневоле приходится и о своей жизни походя говорить, и свои слова пересказывать, ведь наша дружба — живой диалог, а не монолог. В тот солнечный вечер я прочитала, одно за другим, все восемь, названные Тарковским. Не скрою, нетленка меня страшно взбудоражила, и перед сном, и с утра я прокручивала в уме все более или менее похожее на стихи, мысленно составляла список лучших, которые бы пришлись Тарковскому по вкусу.

А дней через десять, уже в июне, Тарковский начал записывать свою для меня нетленку. К этой работе он отнесся, пожалуй, куда серьезней меня. Каждое записанное на магнитофон стихотворение непременно переслушивал, прежде чем перейти к

следующему. Свои стихи Арсений Александрович читал просто, без желания понравиться (чего не скажешь обо мне), без эмоционального педалирования, с понижением голоса в конце каждого стихотворения. Его собственная, слитная с мыслью, музыка, присущая только Тарковскому — а поэт от поэта первонаперво и отличается музыкой, — слышалась явственно, даже ярко, несмотря на неброскую манеру чтения. Когда Тарковский держал в руке светлую воронку микрофона на нужном расстоянии от гибко очерченного рта, я как впервые зачарованно смотрела на него, на его будто вырезанный из потемневшего серебра четкий профиль, на его выразительные морщины, которые не разглаживались, вбирая в себя много чего извне, а, напротив, — углублялись, обнаруживая все бездонное тайномученичество поэта.

Но в июне 75-го Арсений Александрович успел начитать стихи лишь на одну сторону кассеты. А вторую сторону своей “нетленки” Тарковский уже записывал следующей зимой, эпизодично, коротко и с опаской заходя ко мне, чаще всего с кем-нибудь из проживающих в доме творчества. Мы уже друг друга искусственно сторонились. В сущности, конец нашей дружбе Татьяна положила за день или два до моего дня рождения. А в начале марта 76-го я сама поставила на ней жирную точку.

В том марте мне было особенно худо, кооперативный дом, уже оплаченный мною, достроился, но вдруг выяснилось, что истек срок разрешения на строительство кооператива с последующей пропиской, да и само разрешение утеряно. Но все утряслось, и вот я живу в этом доме, и нетленка Тарковского — в левом ящичке старинного письменного столика, подаренного мне Марией Петровых.

# *Разрыв*

*Если считаться начнем, я не вправе*
*Даже на этот пожар за окном.*

Я уже упоминала, что в обширной стеклянной пристройке к каменному “ампиру” на втором этаже имелся довольно большой кинозал. Правда, в нем, особенно в теплую погоду, — не продохнуть. При строительстве забыли сделать какое-то внутристенное вентиляционное устройство, кажется, кондиционер. Кино крутили ежедневно, кроме понедельника, и нередко — отличные фильмы, известные мировому, но не советскому зрителю: итальянские, французские и японские. Помню, как громко, под шиканье, одергивание соседей мы смеялись с Арсением Александровичем, и даже с Татьяной, во время итальянского комедийного фильма “Аморальный”, где в роли “аморального” — Мастроянни. Этот герой-многоженец был на самом деле — наиморальнейший. Но ходили мы чуть ли не на все фильмы. Мы с Тарковским, предварительно накурившись возле столовой, под лестницей, ведущей в фойе перед дверьми кинозала, бильярдной, библиотеки и буфета, поднимались, покупали билеты, занимали три места, а то и еще два — для Славиных. Татьяна, а иногда и Славины, приходили к третьему звонку.

Числа 20–21 июня я не то очки забыла, не то к телефону вызвали. Короче, опаздывала. А тут как назло (выяснилось потом) очередь была за билетами, скопилось много писателей-дачников и жителей поселка. Взглянув на тарковские часы, я поняла — опоздала. Ну, думаю, свет уже погасили, а наши обычные места, посередке с правого краю я и с закрытыми глазами найду, в крайнем случае пропущу обязательный пятнадцатиминутный киножурнал с достижениями нашего всепобедного производства или сельского хозяйства.

Однако, едва свернув в холл перед столовой, услышала доносящийся сверху, упрямо-капризный возглас:

— Без Инны не пойду, не пойду, где она?

Я с тягучим сосущим страхом под ложечкой на миг замерла: направиться к лестнице или бежать? В самом деле, качались в моем мозгу мысли гораздо с большей скоростью и амплитудой, чем “перья страуса склоненные”, — на что это похоже: “Обедать без Инны не пойду, ужинать без Инны не пойду, а тут еще и “в кино не пойду”? О чем он думает? Неужто забыл о случае перед

покупкой часов? Татьяна, понятно, знает, кому я всем существом принадлежу, а каково ей перед людьми? Да другая бы давно уже скандал устроила. Все это — под знаком подняться или бежать — качалось в моем мозгу одно мгновенье, куда скорости звука до быстроты мысли! Но, вновь услышав: “Без Инны не пойду!”, — я пробежала мимо столовой и, задыхаясь, взлетела на второй этаж. В кино все обошлось. И перед сном я себя беспечно успокаивала: Татьяна все-таки со здравым смыслом, не ханжа, знает, из-за кого я бездомничаю, ей ли важна глупость: что люди скажут? — а гневно и некрасиво вспыхнула она перед покупкой часов от ужаса, — Тарковский упал, ведь чуть голову не разбил.

Но на следующий день, после обеда, когда Арсений Александрович отправился “в пижаму”, Татьяна пришла ко мне, как всегда, подтянутая, в брючном костюме, нарумяненная, с подсиненными веками и накрашенными ресницами:

— Инна, я должна вам сказать без обиняков, намеков — не понимаете. Про вас говорят, что вы уводите мужей.

— Что значит — увожу? — возмущенно опешила я. — Это меня Сема увел и, как видите, в никуда. И при чем тут множественное число? — Я уже не могла остановиться. — Если мое беззаконное положение называется “увожу чужих мужей”, то что они — цыплята, которых я собираюсь на шампур нанизывать? Я очень люблю Арсения Александровича, но могла бы его разве что усыновить.

“Цыплятами” и “усыновлением” я думала, хоть и была оскорблена, рассмешить Татьяну, но не уязвить. Я уже потом поняла, хотя пишу об этом в начале своей воспоминательной повести, что Татьяна Озерская — не просто ревнивая жена, но и — ревнивая мать.

Сквозь положенные на щеки румяна проступил естественный густой румянец и разлился по всему лицу Татьяны, а светлые глаза ледовито блеснули:

— Интересная, между прочим, у вас дружба. Когда вас нет в близко обозримом пространстве, Арсений никогда и не вспоминает о вас, никогда и ни с кем.

— Я в этом и не сомневаюсь. Со мной то же самое.

— Так кому нужна такая дружба? Вы здесь, что ли, школьница на каникулах? Инна, отдалитесь, придумайте что угодно, я больше не допущу, мне надоело.

— Хорошо, Татьяна Алексеевна, у меня и без того предостаточно личных и всяческих неувязок. Вы правы. Я-то дорожила именно такой дружбой. Теперь непринужденному общению — конец. А любовь к поэту вовсе не предполагает личного контакта. Для этого существуют книги.

Помнится, день рождения Ахматовой мы отметили в довольно обширной компании за полдником. Был и Липкин, приехал ко мне на целую неделю. На другой день мы вместе с переводчицей Хильдой Ангаровой, так получилось, справляли мой день рождения в буфете, пестро и диковинно расписанном поэтессой Нателлой Горской. Арсений Александрович зашел в буфет без Татьяны, выпил за меня рюмочку коньяку и удалился. Но этого, говоря по совести, я и не заметила. Я была счастлива — Семен Израилевич рядом, и печальна — моя Лена не со мной, а проводит лето в излюбленном рыбацком поселке на Рижском взморье. Думала ли я, что в 1989-м мне предстоит такая длинная, прерываемая короткими встречами, разлука с дочерью. Думать не думала, а вот наговорила себе еще в семидесятых: “Под небо Иерусалима / Моя устремилась родня”. Но с чего я о себе вне связи с темой? Внезапно смекнулось, что судьбу наговаривают самим себе не только крупные поэты, но и “рядовые”, как умно в 79-м году определила меня в своем наиглупейшем телефонном разговоре партчиновница-поэтесса по поводу того, что я подписалась под письмом известных литераторов-“метропольцев” о возможном выходе из союза писателей.

Уже вечером в моем “пенале” Семен меня спросил, что с Арсиком и почему Таня меня не поздравила, как обычно? Через два дня я ему во всех подробностях рассказала, но тогда отмахнулась: кто их знает? На самом деле я попросту испугалась: а вдруг и Сема взревнует? В прошлом месяце он же изумился часам, как мне в деньрожденьевский вечер уже почудилось, изумился подозрительно: “Откуда такая щедрость? прежде в чем в чем, но в щедрости Арсика нельзя было упрекнуть”.

25 июня Семен Израилевич с Арсением Александровичем после завтрака гуляли, а вечером мы не были званы, но Липкин не удивился, он дней рождений не запоминает, помнит дни рождения только — наиближайших друзей, особенно тех, кого уже нет, например, Гроссмана. А 26 июня славный, тихий Алеша — сын Татьяны, увез Тарковских в Голицыно.

Почти всю осень мы с Липкиным провели в Нальчике. А в конце ноября, погостив с недельку у Петровых, я вернулась в Переделкино. Тарковские там уже были.

Татьяна вовсе не желала внешней ссоры, встретились мы культурно. Тарковский любезно напомнил:

— Верно, надо закончить нетленку.

Я так же любезно ответила:

— Буду счастлива иметь полную кассету с вашими стихами в вашем исполнении, но я и кассету и магнитофон оставила у Леночки, в Химках. Сегодня же позвоню, чтобы привезла

послезавтра (“послезавтра”, значит, должна была быть суббота или воскресенье).

Татьяна же была явно удовлетворена моей неулыбчивостью и тем, что я уселась за когда-то привычный для меня стол слева от входа в столовую, спиной к ним и лицом к стеклянной стенке, к уже разлапистому снегу на елях. После каждого обеда, да и после ужина, с виду как и прежде, под мраморной лестницей мы с Тарковским выкуривали по сигарете, а то и по две подряд, однако возникшее еще летом напряжение как бы снесло веселую пену цветенья нашей дружбы. Если сравнить дружащих с двумя рядом стоящими деревьями, то корнями с Тарковским мы не соприкасались, естественно, — и стволами, разве что кронами в пору беспечного цветенья, не размышляющего о плодах. Но какое право я имею говорить от имени деревьев? Кто докажет, что они не мыслят и не чувствуют. Кто докажет, что не знала та райская яблоня, расцветая, что ее будущий плод — запретен, и что…

Но слава Богу, я не из рая была изгнана, а из неглубокой дружбы. Если разобраться, Тарковский всего считаные разы, походя или неожиданно для самого себя раскрывал мне свою изболевшуюся душу, никогда не делился своими замыслами и планами, друзьями. Виткович — то самое исключение, которое подтверждает правило. И все же теперь я понимаю, что мы тогда были дороги и нужны друг другу и что наше приятельство было насильственно прервано.

При доделывании Тарковским “нетленки”, как я уже говорила, кто-нибудь присутствовал, исчезли шутки, поддразнивания, язвословье в мой или в адрес других стихотворцев, если он по недоразумению или по старой памяти на запись приходил один.

На последнюю “дозапись” Тарковский пришел с поэтессой Надеждой Григорьевой. Вскоре меня вызвали к телефону, к разговору, короткому и незначительному. Выйдя из телефонной кабинки, я решила сбегать в столовую за кипятком — угостить кофеем. И вдруг в коридоре, на дверях Татьяны, увидела записку, чуть ли не плакат: “Таня! Я с Надей Григорьевой у Лиснянской”. Вот тут уже я вскипела. Забыла о кипятке для кофе, с одышкой поднялась по мраморной лестнице, упершись в красную ковровую дорожку, точно впервые ее увидела. Почему-то постучалась в свою же комнату. Тарковский держал в руках законченную без меня кассету, отрывая или отламывая от нее для нетленки уголок, какой — до сих пор не знаю.

— Спасибо, — поблагодарила я, взяв протянутую мне кассету, но, видимо, так “поблагодарила”, что морщины на лице Тарковского разгладились и побледнели:

— Что еще стряслось, Инна, кто вам звонил?

— Никто, Арсений Александрович, будьте так добры, останьтесь без Нади всего на полминуты.

Надежда Григорьева, моя сверстница, небольшого роста, с блестящими влажно-коричневыми глазами, ожидающими то ли чуда, то ли удара, безобидчиво вышла. А я тихим, ровным голосом, хотя во мне все клокотало от негодованья, медленно заговорила:

— Разве вам мало тех унижений, которые мне приходится проглатывать уже какой год из-за моей, как вы выражаетесь, “лишней” жизни? (Я и помнить в ту минуту не хотела, что Тарковский этой шуткой умерял мою горечь), вам-то я, собственно, кем прихожусь? — никем. Почему же вы меня унижаете, вывешиваете объяснительные плакаты, отправляясь ко мне. За что вы-то извиняетесь? Уходите и больше никогда, никогда моего порога не переступайте. Не-же-ла-ю, — по слогам произнесла я, как он однажды: об-од-ном, — будем, как вначале, раскланиваться — и только.

— Нет, — сказал Тарковский, — с вами я прекращаю здороваться, — и ушел.

Я была чудовищно несправедлива. На дворе уже отметеливался февраль. С Липкиным, как повелось, перед старым Новым годом на два срока в Малеевку не поехала. Что Тарковского? Я и Липкина-то до конца понять не могла. Мне необходимо было оставаться вблизи Москвы из-за хлопот перед въездом в дом, и я настаивала, чтобы Семен Израилевич переменил малеевскую путевку на переделкинскую. Но он ничего менять не умеет, ни планов, ни места пребывания. Да и любую бытовую трудность преодолеть не в состоянии.

— Ладно, — грозилась я, — въеду в квартиру — на порог не пущу.

Теперь, вспоминая наши разлады, он смеется:

— Это было в эпоху, когда я носил фамилию Напорогонепущуйский.

Но в тот февраль, а тем более — с начала марта, мне было не до смеху. Но это, как теперь любят говорить, “мои проблемы”, а не Тарковского.

Он все-таки, в последний раз, зашел в мою, тогда угловую комнату № 21, вместе с Людмилой Копыловой:

— Если бы не Людочка, я бы не переступил вашего порога. Насколько я понимаю, вам хотя бы еще денек придется пробыть в койке. А Людочка привезла два экземпляра рукописи для “Совписа”. Так почему бы вам не почитать рукопись? Ну, выздоравливайте, всего вам доброго. — И вышел.

Людочка улыбнулась всем своим молодым прекрасным русским обликом: глазами небесно-речного цвета, высоким гладким лбом, рядом ровных ослепительно-снежных зубов и даже пестрой косыночкой, повязанной в виде приподнятого кокошника над пепельными волосами, затянутыми бубликом чуть ниже затылка:

— Инна, милая, рукопись — предлог, придуманный Арсением Александровичем, он рассказал, какая у вас беда с потерей документов, просил вам помочь. Коли знала б, я и сама бы вызвалась. И еще он велел уговорить вас хоть денек отлежаться. Ему врач со “скорой” объяснил, что вы отказались от больницы.

— Да, Тарковский заботливый, — подтвердила я, думая не о нем, — но мне не больница нужна, да ладно, Людочка, доживем до завтра…

— Инна, милая (она всегда, обращаясь, прибавляла к имени “милая” или “милый”), завтра я за вами приеду, и мы отправимся в Моссовет, в архиве отыщем, прошу вас, Инна, милая, не убивайтесь.

— Я и не убиваюсь. Пусть мертвая, а в этот чертов кооператив въеду.

Здесь я просто не в состоянии не сказать хоть несколько слов о Людмиле Копыловой.

Людмила Копылова была давней почитательницей Тарковского, хорошо относилась и к моим стихам. Ну кто мог подумать, что эта эффектная прелестная женщина, полная внутреннего религиозного света, вернувшись из Америки, где ее муж, поэт Геннадий Русаков работал при ООН, кажется, синхронным переводчиком, вернувшись навсегда в Москву и на свою родимую Оку, по которой и в Москве томилась, в белокаменной вдруг заболеет такой безысходной депрессией, что покончит с собой.

В годы, когда большинство членов союза писателей либо избегали Липкина и меня либо не здоровались с нами, Людмила Копылова не без риска для карьеры мужа и для себя слала мне из Америки письма и открытки (храню) ко всем православным праздникам, а прилетая в Москву на рождественские каникулы, или с мужем в отпуск, или сама, чтобы пожить в деревне на Оке, приходила ко мне нагруженная подарками. Ценно было в особенности то, что она не побоялась, кажется, на Рождество в 1982 году привезти “Волю” Липкина, первую, наиболее полную книгу стихотворений и поэм, составленную Бродским и изданную “Ардисом” в Анн-Арборе. Людмила обычно появлялась у нас, то есть на даче у вдовы Степанова, после того, как навещала Тарковских, щедро одаривая его и Татьяну, о чем мне стало

известно от самого Арсения Александровича первого апреля 82-го года, когда мы с ним помирились.

— Людочка, я все равно валяюсь, оставьте мне свою рукопись. Ведь читаю и пишу лежа, мне это не в тягость, а в радость.

Но и на другой день встать на ноги я еще не могла. До самого вечера обсуждала с Людочкой прочитанную накануне рукопись. А еще через день, сидя со мной в такси, Людочка улыбнулась:

— Инна, милая, я не постеснялась Арсению Александровичу сказать, что никто и никогда так внимательно, так подробно, с огромной пользой для меня, не разбирал моих стихов. Инна, милая, и знаете, что он мне ответил?

— Что? — не удержалась я.

— Не обиделся и не удивился: Лиснянская только с виду ха-ха-ха да хи-хи-хи, а к делу относится добросовестно, даже чересчур ответственно. Но больше, если она не попросит у меня прощенья, ни знать, ни слышать о ней не хочу. Но я вижу: беспокоится за вас, и очень. Инна, милая, что произошло?

На вопрос Людочки я только махнула рукой, подумав: а он сам — не ха-ха и не хи-хи? — в те дни я, увы, была крайне несправедливой и неблагодарной. А неблагодарные редко просят прощенья.

# *Табуретка*

*Любить тебя в обиде не могу.*

Мало того что я не извинилась перед Тарковским, но и проститься не пожелала. Тот “плакат” на Татьяниной двери меня окончательно доконал, ожестокосердил. Хотя при чем тут был Тарковский? Тем более что он, пусть не обижается Татьяна, — лицо страдательное, зависимое. И в то же время разве последнее слово могло не остаться за ним?

С середины марта до конца апреля я жила в Химках, у моей Леночки. В начале апреля раздался телефонный звонок:

— Говорит Тарковский. С падишахом хотя бы помирились?

— Помирились, — солгала я.

— А я вам звоню сказать, что вы — бездарная табуретка. Ваш бывший муж Гришенька Корин — талант, а вы — табуретка, ясно?

— Ясно, Арсений Александрович, — нашлась я, — быть табуреткой мне сейчас необходимее всего, занимаюсь мебелью и, кто знает, верно, моя табуреточность поможет мне войти в родственные контакты с другими табуретками и прочим дефицитным деревом. Вы меня очень поддержали, спасибо, главное, будьте здоровы, — и положила трубку.

Наконец 20 апреля мне выдали ордер, а в конце месяца меня посетил Виктор Станиславович Виткович и, с порога округляя свои несколько квадратные глаза, переполненные улыбкой, задал вопрос:

— Что с Тарковским? Почему он ругает ваши стихи, в прошлом году так хвалил и даже кассету вашу дал мне — переписать и вернуть.

— Обычная история: крупные поэты нередко пересматривают свое отношение к текущему стихотворчеству, лучше, дорогой Виктор Станиславович, давайте покажу вам мои апартаменты, хотя, как говорится, здесь еще и конь не валялся. Чаем напою, уж коли с тортом пришли.

Но энтузиаст Виткович не удовлетворился моим ответом. Он перепечатывал почти все мои новые стихи для себя и делал неоднократные попытки увлечь ими Тарковского. И всякий раз, недоумевающий и даже обиженный, сообщал мне, думаю — в смягченной форме, что Тарковский отказывается признать меня поэтом. Это было в 78-м году в Москве. И в 80-м, и в 81-м, когда Виткович, как и Люда Копылова, навещая в Переделкине Арсения Александровича, непременно проведывал и меня на степановской даче. Тут я не могу добрым, благодарным словом не помянуть и

Каверина. Мы с Семеном Израилевичем радовались, что снимаем две дачные комнатки задаром. Совсем недавно выяснилось, что Вениамин Александрович, который и свел нас с Лидией Константиновной Степановой, втайне от Липкина и меня за нас ей приплачивал.

В 1981 году отзывы Тарковского меня уже совершенно не трогали. Если прежде я весело советовала Витковичу не переубеждать Арсения Александровича, то тут уже запретила показывать мои стихи. Начались иные волнения, связанные с неотступностью кагэбэшников.

Однако в моем новосельном апреле “табуретка” меня занозила. Не успел Виктор Станиславович Виткович попить чаю с тортом, как я, закрыв за ним дверь, бросилась к еще не разобранной коробке с книгами, распаковала, нашла сборники стихотворений Тарковского и все, подаренное мне с комплиментарными надписями, в том числе “Вестник” и отдельную публикацию с чудным сонетом, который я окрестила “стеклом”, выбросила. Нет, на помойку снести не посмела, только к странице из журнала или “Дня поэзии” поднесла горящую спичку. А три, кажется, книги, вырвав титульные листы, раздарила. Простите меня, незабвенный Арсений Александрович, но табуретки — неогнеупорны.

# *Первоапрельские праздники*

*…К одной могиле*
*Другая плотно прилегла.*

После смерти Корнея Чуковского первоапрельские дни уже никогда для меня не были днями розыгрышей, а стали, может быть, единственными в моей жизни литературными праздничными посиделками. Об этих действительно литературных пиршествах и о виновнике торжеств — Корнее Чуковском (родился 1 апреля) хочется, если сможется, написать отдельно. Почти на каждом дне рождения Корнея Ивановича уже после его смерти я бывала. На первом этаже дачи Чуковских собиралось от сорока чуть ли не до семидесяти человек. И большинство из них достойны воспоминаний, портретных зарисовок, эссе или литературоведческой характеристики. Часам к трем гости, предварительно посетив могилу Корнея Ивановича, переполняли застекленную залу с уже накрытыми столами, и тут же, при входе в залу — первую комнату справа. В этой комнате усилиями главным образом Люши (Елены Цезаревны Чуковской) и Кларочки Лозовской, чье лицо я могла бы сравнить разве что с солнцем, если солнце может быть черным с проседью, устраивалась выставка редчайших книг, документов, автографов и фотографий. Причем ни одна выставка не повторялась. Программа литературного празднества также всякий год была нова, но заканчивалась традиционно — чтением стихов, уже, как правило, за чаем.

Но сейчас я вспоминаю именно тот первоапрельский литературный пир, посвященный Корнею Ивановичу, где в 77-м среди привычных лиц впервые увидела Тарковских, — с Татьяной поздоровалась, а мимо Арсения Александровича протолкнулась к столу как мимо незнакомца. Возможно, Тарковские уже и на празднике 1 апреля предыдущего года начали бывать, но тот праздник я из-за моих предновосельных неурядиц пропустила.

Но именно сию секунду, когда я начала описывать наше первоапрельское давнее пиршество, раздается телефонный звонок и слабый, но внятный голос Лидии Корнеевны. Такие совпадения я называю “теорией парности”. Лидия Корнеевна желает мне счастливого Нового года и Рождества, хотя, как она же говорит, общих календарных праздников не признает. Позвонила же, чтобы подробно высказаться о моей последней книжке. Но посередине высказывания Лидии Корнеевны — перебиваю ее, вовсе не потому, что мне неловко выслушивать похвалу, а потому,

что меня безостановочно волнует то, чем я в данное время занята:

— Лидия Корнеевна, большое вам спасибо. Я на днях вам говорила, что пишу о Тарковском, ну, поверьте мне, он — ребенок…

— Прекратите, я о нем рассуждать не желаю. Я вам об этом в прошлый раз сказала.

— Но, Лидия Корнеевна, я сейчас описываю один из первоапрельских дней, где Тарковский…

— Это ваше право, вспоминайте что угодно и кого угодно. Тарковский великолепный поэт, но Тарковского-человека не люблю, всегда дурно отзывался о людях, о поэтах.

— О ком?

— Повторяю: я не хочу говорить о том, о ком не хочу говорить.

“О ком” — был мой нелепейший вопрос. Этими, о которых дурно отзывался Арсений Александрович, могли быть Блок и Пастернак, Самойлов и Твардовский, Бродский и Липкин, и мало ли кто еще. О замечательном литераторе, о неподражаемой личности — о Лидии Чуковской хочется говорить бесконечно. Но — вернусь к памятному дню.

Как всегда, Лидия Корнеевна, прямая, скромно-нарядная, с уложенными и покрытыми бесцветной сеточкой седыми волосами, открыла кратким, серьезным словом поистине литературное собрание, встав со своего места в центре “президиума” (огромный, из нескольких столов и досок между ними стол представлял собой букву “Т”). Как всегда, по одну руку от нее — Фина Хавкина, многолетний преданный друг-секретарь, темноволосый, очкастый большой Сережа Агапов, ведущий поочередно с Кларочкой три или четыре раза в неделю экскурсии, а по другую руку — критик Сарра Бабенышева, Наталия Ильина и Юрий Карякин. За торцом “президиума” Лев Копелев с Раисой Орловой, впритык к “президиуму”, напротив меня — Тарковский, Липкин, Озерская, Вячеслав Иванов, чета Гнединых. На длинной лавке, справа от меня — Петровых, Рина Зеленая, Владимир Глоцер, Каверин, Литвиновы, Александр Недоступ, врач, исключительной души человек, о котором в нескольких словах ничего не скажешь. В тот день почему-то не было двух близких друзей Лидии Корнеевны и Люши, непременных завсегдатаев — Владимира Корнилова и Лары Беспаловой. За круглым столиком, напротив по диагонали от меня, возле комнаты, где уже располагалась не только выставка, но и не уместившиеся в столовой, сидели с женами Евгений Пастернак, Непомнящий, Анатолий Найман и ближе к выходу — Войнович, который разрывался на две части: днем приезжал к Чуковским, а к вечеру

спешил на день рождения к своему другу художнику Биргеру. Да, еще на углу “президиума” лицом ко мне и спиной к комнате Лидии Корнеевны — Новелла Матвеева с гитарой, для меня, как и Тарковский, — полная неожиданность в тот день. Темой были, если не ошибаюсь, Корней Чуковский и Зощенко. Люша и Кларочка, чередуясь, знакомили нас, слушателей, время от времени прекращающих пить и есть, с дневниковыми записями Корнея Ивановича о Зощенко, с письмами Зощенко. Все, что ни читалось, было тогда еще почти никому не известно.

Наступила и очередь гостей, — помню, когда Рина Зеленая знакомила тесное застолье со своими воспоминаниями о Корнее Ивановиче, Тарковский тихо перешептывался с Липкиным. Нет-нет, я чувствовала на себе, как мне казалось, непримиримо-обиженный взгляд Тарковского, ведь сидели лицом к лицу.

В тот день народу было особенно много. И хотя Лидия Корнеевна всегда предлагала: “Курите за столом”, — щадя ее, на перекур выходили в коридор. Но в то первое апреля выйти в коридор не представлялось никакой возможности. И самые бесстыжие курильщики редко, но закуривали, воспользовавшись самоотверженным предложением хозяйки, плохо переносящей табачный дым. Этими бесстыдниками оказались я, Ильина и Тарковский. А Мария Сергеевна Петровых, рядом со мной, то прикладывала ко рту незажженную сигарету, то относила ее ото рта, делая едва уловимое движение губами, словно вдыхая и выдыхая дым. При этом ее нижняя губа была слегка оттопырена и придавала доброму лицу Петровых надменное выражение. Такая надменность — обычный знак сердитости Петровых. Не коря меня, она, видимо, была недовольна тем, что я обкуриваю Лидию Корнеевну.

В небольшом перерыве между обедом и чаем завсегдатаи как-то перегруппировались, часть из них уехала, стало попросторней. Пришло время стихам. Помню, что Тарковского попросили почитать первым. Первым — он отказался: “Здесь помимо меня есть и другие, хорошо рифмующие” — тон был капризен, но не смысл. Тарковский, который написал: “Наблюдать умиранье ремесел, / Все равно что себя хоронить”, к владеющим ремеслом относился уважительно. Эта капризность лишь мало его знающим могла показаться обидной, тем более что он тут же взмолился: “Марусенька, Марусенька, начни ты!”

К моему изумлению, Мария Сергеевна, никогда не читавшая стихов при таком скоплении народа, даже наедине читала не всякому, — крайне избирательно, вдруг поднялась. Я, потрясенная этим фактом, не помню, ни что она прочла, ни кто читал после нее, Липкин или я. Последним прочел свои стихи

Тарковский. Какие — также не помню. Запомнилось одно: после эмоционально не окрашенного чтения Тарковского слова песен Новеллы Матвеевой померкли. А ведь я любила ее песни и когда-то, в молодости, слушала Новеллу с вечера и до утра, но это другая история.

По дороге домой, а везла в своем “жигуленке” Рину Зеленую, Карякина, Липкина и меня Наталия Ильина, о которой по-доброму тоже можно вспомнить как о “бабе за рулем”, я думала о Петровых (только что моя память уточнила: ее с Тарковским молчаливое, долгое объятие на “демаркационной линии” имело место ранней весной 75-го). Да, я ехала домой и думала о Марии Петровых и Арсении Тарковском, я уже знала, что летом в Голицыне они — неразлучны. Но когда я проведывала в Москве Марию Сергеевну, она Тарковского лишь однажды упомянула:

— Арсений пишет ангелоподобные стихи. — И на ее лице появился тот румянец, который нежно вспыхивал, если она приходила в замешательство. В “Жигулях” я догадалась: наверное, Тарковский так бранит меня и мои стихи, что ей неловко было со мной вообще заводить о нем беседу. И я с ней об Арсении Александровиче не заговаривала, понятно, ни звука о том, как он высказывался в ее адрес, пока они не помирились. Кто-кто, но кроткая и мягкая Мария Сергеевна Петровых — непередаваемо горда. Она даже и узнав об ужасной гибели Мандельштама, не могла ему многого простить, а не только то, что Мандельштам назвал на допросе ее имя среди других, слышавших от него стихи о Сталине “Я живу, под собою не чуя страны”. Когда бы и кто бы (так случилось с ленинградским критиком Македоновым, неосмотрительно мною познакомленным с Петровых) ни заговаривал с Марией Сергеевной об ее отношениях с Мандельштамом, она, чуть выдвигая нижнюю губу, замыкалась. О поэзии Мандельштама — сколько угодно, но не… Видимо, поэты для стихотворцев любых уровней — всегда живы. Однако я, по-моему, уже начинаю свои воспоминания о Петровых. С ней-то я дружила с 68-го куда тесней и дольше и знала ее, как мне думается, куда лучше и глубже, чем Тарковского.

А 1 апреля 1982 года Марии Петровых уже с нами быть не могло. Она скончалась 1 июня 1979 года. И вообще было немноголюдно: “Одних уж нет, а те далече”. Особенно — “а те далече” чувствовалось на первоапрельском, несмотря ни на что, празднике в переделкинском доме-музее. Я вышла в коридор покурить перед открытой дверью на квадратное, с крышей, крыльцо. В противоположном конце коридора на ступеньках деревянной лестницы, ведущей в комнату и библиотеку Корнея

Ивановича, курил Тарковский.

— А куда можно выбросить окурок? — спросил он громко у склонившейся над ним высокой, красивой, которую не портили и очки, Клариной давнишней подруги. Та, видимо, ответила, что не знает, так как Тарковский подсказал ей на весь коридор: “Инна Лиснянская знает!”

Я не откликнулась и не шелохнулась, — коли я — табуретка, то пусть останусь глухой и недвижной, хотя мне так хотелось броситься на его зов! Кларина подруга с окурком Тарковского подошла ко мне: куда выбрасывают?

— В помойное ведро на кухне, — коротко ответила я, а сама раздумалась: вот что значит, когда курит слава, от ее дыма даже у Клариной подруги аллергия не возникает. А ведь когда я гуляла с ней по Переделкину, то, закуривая, переходила на противоположную сторону улицы. Она и в самом деле аллергик, в частности — на табачный дым. Ну ладно, дым дымом, но подруга Кларочки, хорошо знающая дачу Чуковских, даже не вспомнила, что кухня рядом с лестницей, где курил Арсений Александрович. За этим ехидным, но беззлобным думаньем о магическом воздействии славы я и не заметила, как ко мне подошел Тарковский:

— Инна, в чем дело, почему мы друг с другом не разговариваем?

— То есть что значит не разговариваем? — весело, как в старые добрые времена, рассмеялась я. — Вот сейчас что мы делаем? Стоим и разговариваем!..

Дней через десять к нам, на городскую квартиру, пришел Виткович. Как когда-то, в моем новосельном апреле, он округлил глаза:

— Я вчера ездил к Арсению. Метаморфоза! Несмотря на ваш запрет, я ему показал пять ваших новых стихотворений. Он прочитал, а бывало, теперь признаюсь, отказывался и в руки брать. И представляете себе, он так мне ответил, точно не он, а я отвергал ваши стихи: “А чему вы удивляетесь, я вам когда еще говорил: она вам не хухры-мухры!”.

И только усевшись в моей комнате, Виткович поинтересовался, почему мы съехали с переделкинской дачи. Я приложила палец ко рту и кивнула на телефон: “Домой захотелось”. А провожая Витковича до лифта, тихо сказала: “Они за нас крепко взялись, вынудили нашу хозяйку, как я понимаю, нам отказать, рассвирепев после того неудавшегося наезда на нас машиной. Помните, я вам рассказывала. Сердечный привет вашей Нине. Милости прошу, но поаккуратней с разговорами, а то, не приведи Господи, угодите к ним под колпак.

Больше Виткович к нам не заходил, не потому, что испугался, а потому, что вскоре смертельно заболел.

В середине следующего мая я встретилась с Тарковским возле боткинского морга, где прощались с Виктором Станиславовичем Витковичем. Я приехала минут за тридцать до назначенного срока. Тарковский уже одиноко сидел на лавочке и курил:

— Да-а-а, — скорбно протянул он, не поднимаясь с места.

— Да-а-а, — эхом откликнулась я, садясь с ним рядом и закуривая. Курили и вспоминали, даже покупку часов вспомнили. Тут я сказала Арсению Александровичу, что у меня часы барахлят (так мы иногда называли сердце), и что Сема — не очень, и что гэбэшники в наше отсутствие в доме все вверх дном переворачивают, и что на кладбище не поеду.

— Как же сама до дому доберетесь? — обеспокоился Тарковский. — Вот что: мы вас с Лавриным до “Аэропорта” довезем, а там от метро — только одну узкую улицу перейти останется. Александр Лаврин — мой недавний молодой друг, он, как и я — поэт, и, как и я, — с палкой, но — за рулем.

А на запястье тикают
Тарковского часы.

В 1989 году мы с Липкиным, вернувшись из Америки (участвовали в Ахматовских чтениях в Бостоне), узнали, что Тарковского не стало на земле, которая “прозрачнее стекла”. Каждое лето мы живем в новом корпусе дома творчества “Переделкино”, и в каждое 25 июня приношу на могилу, что совсем рядом с Пастернаком и Корнеем Ивановичем, половину цветов, подаренных мне накануне (чаще всего — сезонные пионы).

Наша дружба была короткой, но отдельной. И я (иногда меня кто-нибудь подбрасывает на своей машине до кладбища) прихожу к Тарковскому отдельно от всех, с утра пораньше, с одними и теми же словами:

— Здравствуйте, дорогой Арсений Александрович! Мои “часы” барахлят, но, видите, я все живу и живу, а ваши — и я привычным жестом переворачиваю руку и прижимаю золотистые часы к земле — идут исправно, слышите, как они тихонечко тикают?

*20 декабря 1995 — 10 января 1996*

*Разговор*

— Почто, собрат Арсений,

Нет от тебя гонца,
Ни весточки весенней,
Ни почтой письмеца?

— А я сижу на тучке,
Здесь дивные места,
Да жалко — нету ручки
Для синего листа.

— Но раз меня ты слышишь,
Пришлю я сизаря,
Крылом его напишешь
Про дивные края.

— Живу я на воздусях,
Где всё, как мир, старо,
Пришли мне лучше с гуся
Державина перо.

— Про этот мир, Арсений,
Все сказано, а твой
В прекрасном остраненье
От плоти мировой.

— И здесь ранжир устойчив
Не плоти, так души…
Грущу о звёздах ночи, —
Как вспомню — хороши!

— Неужто нет в пределе
Твоём цариц ночей?
Скажи, а в бренном теле
Наш дух звезды ярчей?

— Дух светится незримо.
Слова имеют вес,
А ты неизлечима
От шелухи словес.

— Спрошу тебя попроще,
Однако не грубя:
Там, где Господни рощи,
Кем чувствуешь себя?

— И здесь, под райской сенью,
Я убедиться мог,
Что я, Его творенье, —
Царь, червь, и раб, и Бог.

— И звездочёт! И вправе
Был вывезти в гробу
Свою, в стальной оправе,
Подзорную трубу.

— Без груза здесь удобней,
Да я и не ропщу,
О звёздах, как сегодня,
Я изредка грущу.

— Но лишь звезда о крышу
Споткнётся в тишине,
Во сне тебя я слышу.

— И я тебя — во сне.

*1999*